



ЮРИЙ ЛУЦЕНКО

# ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСПОВЕДЬ

Документальные повести  
о Второй мировой

Юрий Луценко

**Политическая исповедь.  
Документальные повести  
о Второй мировой войне**

«ПОСЕВ»

2011

УДК 94(47+57)[1939/1945]  
ББК 63.3(2)622

**Луценко Ю. Ф.**

Политическая исповедь. Документальные повести о Второй мировой войне / Ю. Ф. Луценко — «ПОСЕВ», 2011

ISBN 978-5-85824-201-7

Вторая мировая война. Наша Великая Отечественная... Против Сталина и Гитлера. Против нацизма и коммунизма - двух бесчеловечных, терзающих Родину диктатур. 1944-й. Германия безвозвратно проиграла. Но отряды молодых русских рвутся на Восток, прорывают накатывающуюся на Европу линию фронта. «Смерть не страшна, когда зовет Россия. / Мы не одни - восстанет вся страна...» В рюкзаках бойцов - пачки листовок. За Россию - без немцев и большевиков! Ненавидящие Гитлера немецкие офицеры закрывают глаза на содержание листовок...

УДК 94(47+57)[1939/1945]

ББК 63.3(2)622

ISBN 978-5-85824-201-7

© Луценко Ю. Ф., 2011

© ПОСЕВ, 2011

## Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Коротко об авторе                 | 5  |
| Нет у меня Родины!                | 7  |
| Политическая исповедь             | 9  |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 70 |

**Юрий Луценко**  
**Политическая исповедь. Документальные**  
**повести о Второй мировой**

**Коротко об авторе**



Юрий Филиппович Луценко родился 1 апреля 1924 года в селе Комаровцы Барского района Винницкой области на Украине. Отец Луценко Филипп Маркович – из зажиточных крестьян, школьный учитель. Мать – Дашенко Дарья Тихоновна – из дворян в третьем поколении.

Закончил школу в Киеве в 1941 году, получив аттестат за месяц до начала войны.

В комсомольском батальоне полтора месяца гасил пожары в прифронтовой зоне под Киевом. Во время оккупации участвовал в движении Сопротивления, относясь к той его части, которая, работая на победу над внешним врагом, не желала восстановления на своей земле коммунизма. Встреча с эмиссарами НТС помогла Ю. Ф. Луценко окончательно сформировать свои взгляды и определила направление дальнейшего пути. Возникла идея новой организации – «Третьей силы», нашедшей поддержку и понимание в среде актива сопротивления и у партизан.

Воспользовавшись непониманием немцами целей «Третьей силы», удалось с их помощью сформировать группу для переброски – под видом диверсантов – в советский тыл. 12 декабря 1944 года переброска была осуществлена, однако группу задержали партизаны, искавшие в том районе отряды немецких парашютистов. Уже через несколько дней задержанных отправили в воронежскую тюрьму.

Следствие по группе вел следственный отдел Смерш. В начале 1946 года объявили решение Особого совещания: двадцать лет ИТР.

В заключении Ю. Ф. Луценко провел больше одиннадцати лет. Освободили его по амнистии в феврале 1956 года. На постоянное место жительства поселился в тайге, к северу от Томска. Возможность уехать оттуда в Рязанскую область представилась только в 1963 году.

В Рязанской области работал главным бухгалтером в крупных строительных управлениях. Вышел на пенсию в 1998 году.

Женился после своего освобождения из лагеря в феврале 1956 года. Сейчас в семье Луценко трое детей, четыре взрослых внука, одна правнучка. Все они живут в Рязани.

## Нет у меня Родины! (Вместо предисловия)

*А купцы приезжают в Познань,  
Покупают меха и мыло...  
Подождите, пока не поздно,  
Не забудьте, как это было!*

*Как нас черным огнем косило  
В той последней слепой атаке...*

*Александр Галич*

Сидя в гостиной под висевшим на стене черным крестом, Маслов смотрел с любопытством и без злобы на стоящего перед ним молоденького солдата в немецкой форме с нашивкой «РОА» – «Русская освободительная армия» – на рукаве. Солдат был разведчиком из армии Власова. Был послан в разведку и взят в плен в расположении дивизии Маслова. Позже стало известно, что в Праге и вокруг Праги части армии Власова повернули оружие против немцев и старались выйти на связь с частями Конева. Но тогда Маслов этого не знал.

На удивление всем, пленный держался с завидным спокойствием. Когда его ввели в комнату, где находился Маслов, он лишь с изумлением посмотрел на висевший на стене крест. Затем повернул голову к окну и уже не мог оторвать от него взгляда. Казалось, что он зачарован солнцем, освещающим веселыми лучами вишневые деревья во дворе и часть дубового стола, за которым сидел Маслов. До сих пор у Маслова не было случая увидеть представителя армии генерала-предателя, о которой говорили на всех фронтах, но о существовании которой до самого конца войны не знало гражданское население страны.

Война шла к концу, оставались считанные дни. Наступление на Прагу с целью взять город раньше американцев было последним актом страшной авантюры, в результате которой, о чем мало кто догадывался, должно было измениться лицо Европы, а быть может, и всего мира. Маслов был в отличном настроении и потому без злобы, даже без враждебности в голосе спросил:

– Как ты мог предать родину?

Солдат с усилием оторвал взгляд от окна, за которым была такая невероятно мирная весна, и повернулся к генералу:

– Простите, генерал. Что вы сказали?

– Как так вышло, что ты предал родину? – повторил Маслов уже с легким раздражением.

– Родину... А... Ладно, если ты так хочешь, то я тебе объясню.

На другом конце стола адъютант вздрогнул от изумления. Как эта гнида, этот предатель осмеливается тыкать генералу?! Бессознательно он сделал движение, чтобы вытащить пистолет из кобуры, но Маслов жестом его успокоил. Он все понял. Солдат прекрасно отдавал себе отчет, что эти минуты были последними в его жизни. И он хотел перед смертью сказать нечто для него важное. Он должен был умереть, и генерал был единственным возможным собеседником.

– Я тебе объясню. Мою родину, говоришь? Нет ее больше, моей родины. Моей родиной было большое и красивое село на Кубани – это на юге, слышал, наверное? Жили неплохо, не жаловались. Правда, во время Гражданской отец дрался за Советы, чтобы получить землю. Он ее получил. Только вот в тридцатом у нас ее всю забрали, понимаешь? Оказалось, раз мы

не подыхали с голоду, то – кулаки. И у нас все, все забрали. У кулаков, значит. Только, ты станешь смеяться, потом они вернулись и у всех все забрали. Понимаешь, все крестьяне оказались кулаками! Ловко проделано! Кое-кто хотел сопротивляться, и их быстро отправили в Сибирь. Мой отец ничего не сделал, промолчал. Только на следующий год случилась засуха, а еще через год оказалось, что нам нечем сеять. Нечем, понимаешь? Мы начали помирать с голоду. И захотели уйти из села. Куда там! Они окружили село войсками и стреляли в каждого, кто пытался бежать. Тогда мужчины попросили, чтобы отпустили хотя бы женщин и детей. Еще чего! Одни померли с голоду, других срезали пулеметы. Те хоть не мучились... Мне тогда было семь лет. Мать меня спрятала в сухом колодце. Когда все померли, они сожгли село: дома и трупы. Все сожгли. Соблюдали гигиену, чтобы эпидемий не было, понимаешь? Когда все кончилось, я сумел убежать, но меня быстро поймали и отправили в детдом, так они называли детскую тюрьму. И меня называли «кулацкое семя». Перевоспитывали. Да ладно, я уже достаточно сказал. Это я хотел дать тебе понять, что мою родину, сколько ее ни ищи, никогда уже не найдешь.

В тайном ужасе от того, что в охватывающей его сердце теплоте он распознал начало братского чувства к стоящему перед ним солдату, Маслов приказал его немедленно расстрелять.

*Из книги Дмитрия Сеземанна «В Москве всё спокойно»*

## **Политическая исповедь** ***О том, чего нет в архиве организации***

### **Исповедь старого «союзника» на фоне белых пятен в истории Движения**

Амосов сообщил, что в архиве Организации обнаружили мое имя с порядковым номером 37 и пометкой «Погиб... место захоронения неизвестно».

Должно быть, дата моей смерти обозначена – декабрь 1944 года. Ведь именно тогда нашему радисту Аркадию Герасимовичу в радиограмме Данилову все же удалось под контролем чекистов, используя секретный код, сообщить о том, что наша группа больше не существует.

Это был третий, запасной вариант именно для сообщения о том, что все мы погибли.

А мне все же удалось выжить. Одному из троих обреченных.

Аркадий погиб летом 1946-го.

Осенью того же года – Игорь Белоусов.

В 1991 году сама по себе, как перезревший нарыв, лопнула коммунистическая система правления Российским государством.

В стране, наряду с другими свободами, официально провозглашено самое главное из всех завоеваний демократии – свобода слова.

И хотя до полной победы истинной демократии нам еще очень далеко, стало вдруг возможным не только вспомнить, не таясь даже от самых близких, но и громко заговорить о «белых пятнах» моего «темного» прошлого, мягко говоря, не совсем адекватного по отношению к коммунистическому строю в стране.

Целая среднестатистическая жизнь человека – шестьдесят лет прошло с того времени, когда я при нашем прощании в последний раз обнял товарища по своей Организации. И отдал ему на хранение последние свои ценности: настоящие личные документы, дорогие письма и фотографии людей, для меня самых родных и близких...

И с тех пор – с одна тысяча девятьсот сорок четвертого – все последующие свои годы я просуществовал совсем в другом срезе жизни, в иной реальности, ином мире.

О событиях из моего прошлого, о моей юности, о нашей Организации напоминали мне иногда только чины из контрразведки, НКВД и КГБ.

Только в 1991 году, когда на Конгресс соотечественников, проведенный в Москве по инициативе Ельцина, собрались представители эмиграции, я впервые встретился с родственниками из «дальнего» Зарубежья.

И уже от них узнал, что Организация, наш Союз все еще жив, активен в своих действиях и находится в боевой форме.

До этого все годы, которые я провел в условиях мира «победившего социализма» на правах изгоя, человека с «очень темным прошлым», мне приходилось при каждом моем поступке, каждом высказанном слове оглядываться и напоминать себе о возможных последствиях. И о том еще, что я по природе своей не такой, как все, и что мои действия кем-то всесильным будут оценены совсем в иной валюте, чем у других.

За три года участия в подпольной организации, ведущей активную борьбу с властью коммунистов в СССР во времена немецкой оккупации, мне пришлось расплачиваться долго и по очень высокой цене.

«Приговором Особого совещания» я был обречен на двадцать лет «исправительно-трудовых работ» в системе ГУЛага. А это значило двадцать лет борьбы за то, чтобы просто выжить!

Кроме этого, в моем «Личном деле», для усложнения условий выживания, была еще и пометка: «Особо опасный преступник». Судили меня заочно. Я не видел своих судей, судьи не видели меня. Они не выслушали моих слов в собственную защиту и решали мою судьбу, скорее всего, не выходя из своих кабинетов. Я тогда расценил это как их – даже работающих в рядах этих всесильных «органов»! – опасение встречи со мной, боязнь услышать не свою – социалистическую, а совсем другую правду.

После смерти Сталина и расстрела Берии бывшие их соратники поняли, что зарвались. Они сами ужаснулись тому, что сотворили со страной и ее народом. После XX съезда КПСС наступило время некоторого отрезвления в руководстве страны, названное периодом «политического потепления».

Мой срок в тюрьмах и лагерях, в штрафных, «особых», «специальных» и «особорежимных», был милостиво ограничен одиннадцатью с половиной годами, уже отбытыми мною.

Эти годы в основном ушли на обживание дальнего Севера, подчас на грани выживаемости, а иногда и за этой гранью.

Мне все же несказанно повезло в этой жизни – меня Провиденье для чего-то сохранило в живых. Жребий выпал только одному из троих в нашей команде, осужденных на срок выше десяти лет. Одному из многих десятков товарищей по Организации.

Погибли близкие друзья и испытанные мои соратники Игорь Белоусов и Аркадий Герасимович. Рано ушли из жизни очень многие, безусловно – и более достойные.

Остаток моего срока заменен бессрочной ссылкой в отдаленных от центра страны городах и поселках. Я сам из всех прочих мест обитания выбрал Томскую тайгу, поселок Красный Яр Ергайского леспромхоза. Так распорядился потому, что туда были сосланы и мои родители.

Расплачиваться за мои деяния пришлось загубленной молодостью моей младшей сестре Нине. После восьмилетнего лагерного стажа в Караганде, Челябинске и Мордовии дополнительно еще потом и десятью годами ссылки в той же тайге, к северу от Томска. В том же таежном поселке.

Я никогда не жаловался на судьбу. Ее для себя определил я сам в ранней юности. Только иногда, уже в процессе жизни на ум приходила мысль: все же физическое уничтожение – тогда, в 1946 году – как карательная мера по «Приговору» была бы для меня более желанным исходом, чем весь этот конгломерат физических, моральных и нравственных испытаний.

И даже потом, после полного расчета с Государством по их «Приговорам» и «Решениям», мне предстояла долгая пора «негласного надзора» – несколько десятилетий особого, тайного и открытого, внимания к моей особе со стороны партийных и «компетентных органов».

У меня выработалось постоянное, почти физическое ощущение чужого тяжелого дыхания за спиной, я жил под плотным «колпаком» всесильного КГБ, в тесном кольце «сексотов», «стукачей» и провокаторов. Казалось иногда, что под их контролем находится каждая мысль... Они мне явно не доверяли, до самого последнего дня их господства. Они были уверены, что я обязательно должен еще «проколоться», проявить себя и попасть в хитроумные, а иногда и очень примитивные ловушки и силки, расставленные вокруг меня. Что будут еще попытки с моей стороны выйти на связь со своей Организацией.

Постепенно они сами же и приучили меня жить двойной жизнью, всегда, даже в самых невинных жизненных ситуациях, пребывать в состоянии готовности ко всему. Я знал очень хорошо, что когда-нибудь им может надоесть эта игра, и они пойдут на самую простую провокацию...

Даже после развала СССР я ничего не знал о судьбе товарищей по Организации, моих коллег по борьбе. Уже в 2003 году в американском журнале «Carnegie reporter» появилась статья о России, прожившей десять лет с начала политических перемен. Есть в ней глава и обо мне. Даже с фотографией.

Это моя внучатая племянница таким образом попыталась помочь мне разыскать в огромном капиталистическом мире друзей из прошлого. Но тщетно. Заинтересовались темой статьи и попросили у меня интервью лишь несколько школьников из Чикаго...

А в 1996 году я, переступив через душевную боль, написал несколько повестей о своем прошлом. Это были мои первые: «Тоби Бобо», «Большой сабантуй» и «Помни о Виннице» и переслал все это с письмом Председателю Совета НТС – как свою политическую исповедь. Ответил мне – очень сухо – управляющий делами Организации Жуков.

А еще в передаче «В мире книг» прозвучал косвенный привет по радио от журналистки Татьяны Ивановой.

И я понял, что письмо мое прочитано почему-то с недоверием. К тому же искали в архивах Организации мое имя – и не нашли. А мемуары восприняли как попытку литературной саморекламы.

Прошло уже слишком много времени. Имен, названных мною, никто не помнил и не знал, факты вызвали сомнение... А еще, как я узнал потом, в то время им просто было не до меня – Организация переживала очередной период «Великого раскола».

И только спустя несколько лет заочное, совсем уж случайное знакомство с Юрием Константиновичем Амосовым открыло для меня возможность окунуться в мир информации о людях и о самой Организации. Постепенно с помощью Амосова удалось получить ответы на множество вопросов по теме, которая всю жизнь меня очень интересовала.

В этом знакомстве главным оказалось то, что мы оба принадлежим практически одному поколению. И стало понятно, почему все попытки разыскать хоть кого-нибудь из моих друзей, оказались тщетными. Это было попросту невозможно: все они дружно ушли в мир иной.

С большой печалью узнал я и о том, что у современных представителей Организации очень скромные познания о своем прошлом, о своей Истории. Отрывочные сведения остались в книге «Мысль и дело» (2000 год) и в книге Л. Рара – В. Оболенского «Ранние годы».

Но как этого мало!

Есть, конечно, достаточно полная информация о деятельности Центрального Совета. Она в наличии потому, что сохранены Протоколы и основные Решения Совета. И еще: в свое время были изданы мемуарные труды руководителей Совета разного времени – В. Поремского и Е. Романова.

Однако очень многое из того, что происходило «на периферии», во всех уголках России, Белоруссии, Украины, что стало результатом встреч функционеров НТС с «советским» народом во времена немецкой оккупации, обозначено лишь пунктиром, а многое вообще осталось вне памяти Организации. Безвозвратно утрачены целые пласты истории Движения.

Это случилось также из-за того, что приходилось соблюдать постоянную секретность, строгого следовать правилам конспирации. Все прекрасно осознавали жесткую необходимость: знать как можно меньше о других товарищах.

Была и еще одна, очень существенная, причина, говорить о которой, как мне кажется, в прежние времена было «не принято». Эта причина – два «Великих раскола», в разное время произошедших в рядах Организации. И, безусловно, нанесших и ей, и всему Движению значительный и непоправимый урон.

Второй раскол, вызванный в основном передислокацией НТС в Россию и связанными с этим изменениями как в структуре самой Организации, так и в ее правовой основе, по моему мнению, объясним, логичен и даже, может быть, необходим.

Однако разделение членов Организации на коалиции и группы в 1945 году, в самый тяжелый период деятельности, в первые годы после завершения войны, было, с моей точки зрения, не только немотивированным, но необдуманном, вредным и болезненным для всего Движения. Из-за этого раскола часть очень активных, деятельных функционеров – ценных, полезных

работников самых разных звеньев и уровней – оказалась за чертой Организации. Они ушли, унося с собой и часть общей души Движения, и целые главы общей истории.

Я не могу осуждать никого из тех, кто принимали решения о «разводе» в единой большой Семье. Не осуждаю не только потому, что при всем желании не могу сейчас, спустя много десятилетий, разобраться, кто же был прав больше, а кто меньше. (Истину о том, что в любом споре виновны обе стороны, я усвоил для себя с детских лет. Разница бывает только в мере вины.)

Я не могу судить этих людей еще и потому, что был младшим среди них. Я был тогда учеником. На ходу, в действии учился у них жить и бороться, учился законам конспирации, решительности поступка, мудрости в любых жизненных ситуациях... А самое главное, я учился у них принципам бережного, любовного отношения друг к другу. Это называлось тогда применением системы солидаризма в жизни, на практике.

И как ученик я убежден в том, что вообще не должен осуждать поступки своих любимых учителей, так же как сын не имеет права осуждать своих родителей.

Но прекрасно понимаю моральное состояние рядовых членов Организации – многих сочувствующих, а особенно колеблющихся – в то страшное время, когда уходили одни (те, с кого брали пример) и насильственно отторгались другие. Это состояние можно сравнить только с чувствами детей при разводе любимых родителей.

Невозможно осуждать и тех, кто остался в Организации. На их долю тогда естественным образом выпала обязанность «латать дыры», образованные в теле Организации.

С этой задачей они справились успешно.

Кроме того, им удалось еще очень многое.

Им удалось сохраниться вместе в тяжелейших условиях с Уставом, с составом членов и сочувствующих, с ее юридической сущностью, с какими-то активами и пассивами...

Чекисты в те годы радовались расколу, но не перестали считать НТС своим «главным врагом»... А это вполне можно расценивать как основной показатель дееспособности политической организации.

С огромной болью я отметил и то, что блестящая плеяда романтиков, которая покинула тогда Организацию, не согласившись с какими-то пунктами в ее стратегии и тактике, ушла вскоре и из жизни. Оставили этот мир один за другим все они, будто из них был выпущен живительный дух. И своей смертью они показали, что без привычной среды, без политического устремления жизнь для них не представляла уже никакой ценности.

А для меня так и осталась неразрешенной загадка: как же могли они все, оказавшиеся внезапно по двум сторонам образовавшейся между ними пропасти, они, мудрые и справедливые, опытные и закаленные в борьбе, как же могли они не рассмотреть, что эта «пропасть» не окончательна? Что она не так важна, не так страшна по сравнению со всем тем, через что им уже пришлось пройти. И по сравнению с тем, что ожидало их потом – при отказе от борьбы и в наступившем одиночестве...

Ведь ее, эту пропасть, можно было постепенно преодолеть, протягивая руки навстречу, делая уступки друг другу.

Они выбрали – я убежден в этом – явно не лучший вариант решения возникшей общей проблемы.

До 22 июня 1941-го, до дня, когда к нам пришла война, мне только-только исполнилось семнадцать лет. Я в том году окончил среднюю школу в Киеве.

Как распорядиться своей судьбой – куда пойти учиться дальше, – я еще не знал. И хотя я был довольно активным комсомольцем (меня даже избирали вторым секретарем комсомольской организации школы) и учился хорошо, все же проблем с поступлением в какое-либо военное училище (что было тогда очень модно в среде моих сверстников) или в престижный технический вуз у меня было достаточно.

Во-первых, я вынужден был потерять год, так как принимали в такие учебные заведения только после восемнадцати. Во-вторых – и я это уже прекрасно понимал, – дорогу мне могла перекрыть так называемая мандатная комиссия в связи с фактами моей не совсем благополучной биографии. Для НКВД не было секретом ни то, что моя мама из дворян, ни то, что у нее есть родственники за границей, ни то, что родной отец у меня – из раскулаченных крестьян, а отчим дважды привлекался к уголовной ответственности по 58 статье с пунктом 7 («хозяйственные нарушения»), тогда была мода называть их звучно «хозяйственная контрреволюция»).

Отчиму пока удавалось выкручиваться. Он доказывал, что, будучи пролетарского, даже батрацкого происхождения, вполне лоялен в своем отношении к Советской власти. Нашлись свидетели, которые не побоялись подтвердить, что он героически воевал в Гражданскую, в знаменитом Богунском полку, дивизии еще более знаменитого (самого!) Щорса. И его отпускали на свободу.

Хотя доносы «доброжелателей» в его деле все же оставались в сейфах на всякий случай, до следующего раза, и множились темные пятна в его биографии. А сам он просто не вписывался в их систему своей порядочностью и еще тем, что не желал вступать в их партию.

И неизвестно, чем бы это закончилось, если бы война не перевернула вверх дном и жизнь всего Государства, и судьбу каждого из нас. Прежние планы, надежды, расчеты оказались наивными детскими мечтами.

Киев был занят немцами через три месяца после начала войны.

За это время в моей жизни было уже очень многое. И поход в составе батальона «молокососов», как нас тогда называли в военкомате, пешим строем на Восток, в центральную часть России. И первая встреча с военным беспределом: по дороге командование батальона сбежало от нас, прихватив казну и обоз с продуктами, нас же оставив в роли дезертиров-заложников. Потом было еще полтора месяца участия в обороне Киева в составе противопожарного батальона по путевке Райкома комсомола... Мы гасили пожары по ночам под минометным обстрелом, днем же прятались от немецких мин в бомбоубежище.

Всякие остатки уважения к советскому Правительству как у ребят в моем окружении, так и у меня постепенно растаяли сами собой при встрече со многими мелкими и крупными преступлениями представителей той, прежней власти. Прикрываясь военной необходимостью и никого не стесняясь, они творили, что только хотели.

Взамен мы испытывали чувство презрения, перерастающее в ненависть.

В городе начался самый настоящий голод. А еще – шла партизанская война. Днем на глазах у всех партизаны взорвали одно из самых представительных зданий на Крещатике, где размещались в советское время какие-то административные службы. Под грудой конструкций и строительного мусора погибло с десятков немцев, а еще – многие сотни киевлян, которые по приказу новой власти под угрозой расстрела принесли сдавать охотничьи ружья и радиоприемники.

Каждую ночь взрывалось несколько жилых зданий в самом центре – на Крещатике и прилегающих к нему улицах. Горело все, что могло гореть. Город был наполнен запахом гари. Так подпольщики выполняли приказ Верховного Главнокомандующего о том, чтобы «под ногами врагов горела земля».

Всем вдруг стало понятно, что центр города заминирован еще раньше, заблаговременно. Многие вспоминали, что видели, как люди в военной форме носили в подвалы домов какие-то тяжелые ящики. Тогда этому не придавали значения – думали, что кто-то менял жилплощадь, а военные помогали перевозить вещи. Военным тогда верили.

Однако оказалось, что военные были разные, и не все жители города могли различить их по цвету петлиц.

Мы были обречены.

Нам всем заранее была приготовлена роль заложников. Вождь украинских коммунистов Никита Хрущев и командующий военным округом Семен Буденный всего за несколько дней до своего бегства убеждали нас по радио, что Киев не будет сдан оккупантам. Хотя они тогда уже знали, что немцы скоро окажутся в городе, и центр его неминуемо будет разрушен. Жителям предстояло встретить смерть в своих домах.

Водопроводную систему взорвали при отступлении. Воды в городе не было. Пожары после взрывов распространялись все шире, охватывая все новые и новые улицы и переулки.

Немцы попытались приостановить разрушение города своими – не менее дикими – методами. На улицах, во дворах они собрали мужчин, которые помоложе и посильнее, увели на окраину города и расстреляли как заложников. Сто человек. Потом триста. Потом пятьсот. Объявляли о расстрелах и о причинах своих действий в листовках, на следующий день после расправы...

А потом пришел незабываемый день 21 октября.

В Бабьем Яру по приказу военного коменданта города началось планомерное уничтожение евреев.

Я в составе большой группы друзей, уверенных друг в друге, собирался уходить в лес повоевать. Было у нас для начала припрятано и кое-какое оружие: в дачном поселке на опушке леса мы прикопали учебную малокалиберную винтовку с пачкой патронов и старый наган с тремя патронами в обойме.

Но не успели мы провести подготовительные и организационные работы, как – совсем уж неожиданно – пришли и первые потери. Глупо и бездарно погибли несколько человек из наших ребят. Среди них и наш потенциальный командир. А кое-кто уже убежал из голодного города.

Тогда мы поняли, что воевать самостоятельно не сможем. Но и к «старшим товарищам» – из партийного и советского актива – обращаться нам совсем расхотелось. В ту пору у нас к ним уже не осталось никакого доверия.

После всего увиденного и пережитого за один только месяц войны мы осознали, что нужно какое-то новое, может быть, даже политическое направление. Совсем новое дело, ради которого не жалко было бы положить головы. Какая-то свежая идея, представить которую мы еще не могли. В наших мозгах была сплошная каша. Там находили свое место и Ленин с его «старой гвардией», и Киров, и маршалы – Фрунзе с Тухачевским. А некоторые вспомнили даже и батько Махно!

Не осталось там только места живым коммунистам. Все их герои ушли в прошлое, а мы хотели просто и честно воевать с врагом, и нам требовались действующие и очень порядочные вожаки.

Требовалось срочно найти свое место в бойне, которая шла в стране, бездеятельность была просто позорной. На нашей земле везде стало горячо и не осталось места, где бы можно было отсидеться и спокойно переждать войну.

Зимой, в конце 1941 года, в еще дымящемся Киеве, городе, где были и голод, и смерть, и разрушения, неожиданно начали открываться учебные заведения с такими архаичными названиями, как «гимназия» и «лицей». Потом, уж совсем неожиданно, был объявлен набор абитуриентов в Медицинский институт, открытый под эгидой Университета. Открылся и Украинский театр.

Немцам очень хотелось показать всему миру, что они не только освобождают мир от коммунистов, но и восстанавливают в освобожденных городах науку и культуру.

А нам терять было нечего, и мы с моей старшей сестрой легко, без напряжения стали студентами-медиками. Учебный год начался с опозданием. Целую зиму и весну, стараясь наверстать упущенное, голодные и очень злые, мы усердно резали трупы, в которых тогда не было недостатка, зубрили латынь, учили химию и, конечно же, немецкий язык...

А летом, после сдачи зачетов, для того, чтобы и нас немного подкормить, а заодно и пользу принести такому странному сообществу, нас отправили в села для помощи в уборке урожая. Мы поехали дружно и охотно.

Когда, окрепшие и загорелые, мы вернулись в город, нас собрали в актовом зале Университета и военный комендант города, рыжий, как Чубайс, любезно поблагодарил нас за труд, благодарно пожав руку – не снимая белой перчатки – нашему декану Штепе. И через переводчика великодушно отметил, что такой формой сотрудничества он очень доволен...

А переводчиком у него был Николай Федорович Шитц.

Но я его тогда еще не знал.

Потом тем же бодрым голосом комендант объявил, что пришла пора и нам доказать свою лояльность по отношению к «освободителям». Он приглашал нас всех, будто на экскурсионную прогулку по его стране, добровольно отправиться на некоторое время на работу в Германию. Обещал, что немецкая власть сохранит за нами право, «после их полной победы», опять стать студентами. Говорил о льготах для тех, кто поедет, в виде хлеба и колбасы на дорогу.

Им была очень важна именно добровольность нашей работы у них – как пример для подражания остальным молодым людям. Они надеялись на нашу сознательность и были уверены в ней настолько, что даже отпустили всех на ночь по домам.

А мы радостно «отблагодарили» господина коменданта за доверие. Из двух тысяч студентов на следующий день в медицинскую комиссию пришло человек двадцать, в основном – инвалиды с детства. Остальные предпочли раствориться в городе.

Комендант, говорят, тогда рассвирепел. Он расценил такое отношение как насмешку над собой и объявил нам, «неблагодарным», настоящую войну. Студентов официально запретили брать в городе на любую, даже самую тяжелую, работу, которая предоставляла бронь от мобилизации в Германию. Он дал команду полиции, жандармерии и даже гестапо вылавливать нас поодиночке, устраивать засады в квартирах и брать в заложники родителей.

На наше с сестрой счастье, в институте при регистрации паспортов нас записали по другому адресу – при переезде на другую квартиру не сделали нужной отметки.

В это тревожное время нас разыскал родственник – муж Анны Тихоновны, одной из многочисленных маминых сестер, отец Иоан Кишковский, священник из Винницы. А всего через пару недель из Варшавы приехал его сын, крестник нашей мамы – Шура.

Это и был тот самый Александр Иванович Кишковский – в то время член-инструктор НТС(нп), один из помощников Вюрслера по Варшавскому, так называемому «закрытому», отделу Организации.

У Александра в зашифрованном виде было с собой тогда несколько адресов для наведения контактов с родственниками, друзьями и просто знакомыми на территориях, оккупированных немцами.

В 1942 году он одним из первых представителей НТС проехал Украину насквозь, везде оставляя ощутимый след. Это он разыскал в Киеве двоюродного брата Дмитрия Брунста и установил постоянный контакт с молодежной группой на базе его клана. И именно он в Днепропетровске помог молодому тогда журналисту Евгению Островскому, в будущем Председателю Совета НТС Евгению Романову, определить направление его политической деятельности. Романов упоминает об этом в своей книге «В борьбе за Россию».

Александру было тогда тридцать два года. Он гостил у нас трое суток и провел с нами в беседах и воспоминаниях всего три вечера. Мне пришлось ночевать с ним в одной комнате. Разговаривали мы почти «до утренних петухов» и очень подружились. Моя мама глаз не сводила со своего любимца и очень гордилась нашей с ним дружбой.

Шура был умным собеседником, опытным полемистом, мудрым политиком, а кроме того, тонко разбирался в тупиках и заморочках юношеского мышления. За три ночи он заложил основу будущей системы моего сознания; открыл для меня много нового в хитросплетении

ниях политики коммунистов и оккупантов, освободительного движения разных народов порабощенной Европы.

И еще: он четко обрисовал основу «Третьей силы» – именно такого политического направления, в поисках которого мы с друзьями так мучились в те дни.

Потом я проводил его до вокзала.

Никому из нашей семьи так и не пришлось больше встретиться с Александром. Иногда через общих знакомых он передавал мне привет и теплые слова поддержки. А я постоянно чувствовал его одобрение моим действиям; казалось, что он и издали постоянно следит за моей жизнью.

Потом, уже после войны, мне часто напоминали о нем разные чины КГБ. Особенно интересовалась им советская контрразведка. Много тяжелых часов было посвящено следователями Смерш его персоне и при следствии по моему «Делу».

Лишь недавно я узнал, что во время первого раскола в НТС Александр тоже вышел из Организации, вслед за бывшим ее председателем Байдалаковым, и эмигрировал со своей семьей в США. Преподавал там в частном университете... и ушел из жизни совсем молодым – в сорок девять лет. Умер он неожиданно для окружающих, тихо, будто уснул во время минутного отдыха.

Уже после «Великой бархатной революции» 1991 года в России, во время Конгресса соотечественников встретился я с его младшим братом Юрием, а тот познакомил меня с вдовой Александра – Соней. Она вышла второй раз замуж, и в их семье роль Александра стала забываться. Его место занял другой человек, мудрый в семейных делах и очень тактичный.

Я разыскал в Москве также их внучку. Она-то и пыталась помочь мне в розысках моих прежних друзей-товарищей.

По телефону и в письмах я иногда общался и с его сыном – священником Православной церкви в Америке, настоятелем храма под Нью-Йорком.

Перед отъездом из Киева тогда, в 1942 году, Александр Иванович дал мне адрес своего «коллеги», обосновавшегося в Киеве. Это оказался тот самый переводчик, который сопровождал рыжего коменданта города, когда разгоняли наш институт. Звали переводчика Николай Федорович Шитц.

В 1942–1943 годах Николай Федорович жил на правах служащего немецкого руководства Киева в фешенебельном, тщательно охраняемом доме. В полуразрушенном городе со взорванными коммуникациями этот микрорайон был обеспечен по автономной линии и электричеством, и водой.

Мне хорошо запомнилась встреча с Шитцем.

Поразило в нем многое: и строгий регламент его встреч, и углубленная серьезность в отношении к делу, и уважительное отношение этого «взрослого», по моим меркам, весьма солидного человека ко мне – весьма юному будущему своему «коллеге».

И сам он был какой-то особенный, необычный. У нас таких людей просто не встречалось.

Он познакомил меня с условиями взаимоотношений членов Организации в Киеве именно в те дни. Счел своим долгом предупредить об огромном риске, об опасностях – а ими будет наполнена моя жизнь, если я решусь оказаться в рядах Организации.

Николай Федорович пообещал познакомить меня с товарищами, которым поручена работа с молодежью в городе. И очень просил ни о нем самом, ни о том, где он живет, не упоминать нигде и никогда.

Фамилия Шитц (Шиц) нередко встречается во многих официальных документах Организации. Он был очень активен особенно в послевоенные годы, был Членом Совета НТС нескольких созывов. Но как соавтор НРП – организации-сателлита НТС, как безусловный руководитель Союза на Украине в годы оккупации (то есть именно в тот период, на котором я остановился), он не упоминается ни в одном документе.

Спустя всего несколько дней после встречи с Шитцем у нас дома появился молодой, высокий, симпатичный блондин, в шинели немецкого офицера, но без погон. С устной рекомендацией Александра Ивановича Кишковского.

Назвался Сергеем Ивановичем Бевадом. Он также был из среды русских эмигрантов, но не из Польши, а из Чехословакии.

Мои родители гостеприимно приняли его. Он умел расположить к себе людей независимо от их возраста, был очень коммуникабелен, прекрасно воспитан и этим особенно нравился моей матушке.

Два вечера провел он в наших семейных «посиделках» и рассказал много интересного: о жизни русских в эмиграции, о родителях и товарищах. О том, что успел побывать в немецкой тюрьме. На этот раз он получил хороший жизненный урок и сумел защитить себя только благодаря вполне приличному знанию немецкого языка.

Как и с братом Александром, я ночевал с ним в «девичьей» комнате, и наши разговоры на очень интересную для меня тему длились далеко за полночь. Нам всем он казался продолжением маминого крестника. Они даже чем-то были похожи друг на друга.

Мне же он по секрету признался, что с Кишковским знаком очень мало, да и встречался с ним давно, во время командировки в Варшаву. А к нам его направил Николай Федорович Шитц.

Из Киева Бевад уехал дальше на Восток, в Кировоград, Днепропетровск, Харьков, потом в Новочеркасск – как он мне тогда говорил, с письменным направлением на работу переводчиком в казачью часть. Всюду по дороге (и не совсем по дороге, а используя представившуюся техническую возможность), путешествуя из города в город по оккупированной немцами Украине, он оставлял за собой очаги НТС.

Уже много лет спустя я узнал, что задержка «по пути» в Днепропетровске принесла Организации большую пользу. С участием Бевада решился вопрос образования весьма существенного для Организации первичного формирования.

Это и о нем в книге «В борьбе за Россию» писал Евгений Романов (Островский) как о своем первом учителе на его пути в НТС.

Бевад был в 1943 году и в Виннице. Казачья часть, в которой он служил, остановилась там на отдых. О его приезде я знал, но видиться с ним мне, мягко говоря, не рекомендовали.

Нас свел случай.

Он был в то время уже в чине хорунжего. Казачья форма была ему к лицу. И еще я отметил, что он пользовался у «станичников» большим уважением и авторитетом. Об этой встрече я рассказал подробно в своей повести «Помни о Виннице».

А через месяц после этого в Винницу пришло печальное известие: Сергей Иванович неожиданно для всех погиб в Проскурове (сейчас это город Хмельницкий). По официальной подтвержденной версии, он застрелился, ушел из жизни по своей воле, из-за конспирации. За ним пришли гестаповцы потому что кто-то выдал через него полученные листовки «НРП – 3 – Силы»

*Сергей Иванович Бевад, 1918 года рождения, младший брат Николая Ивановича, одного из наиболее видных деятелей НТС, Члена Совета Организации нескольких созывов послевоенных лет. Они были сыновьями белого офицера, эмигрировавшего в Румынию и потом – в Чехословакию. Сергей Иванович – храбрый, напористый, очень деятельный функционер Организации, до войны в Чехословакии был председателем ее Пльзенского отдела. Дважды попадал в тюрьмы гестапо; освобождали его благодаря прекрасному владению немецким языком. Во время войны ему одному из первых удалось отправиться на восток как миссионеру НТС. Там он оставил за собой много политических последователей и большой шлейф добрых дел.*

А тогда – в 1942 году – перед отъездом из Киева Сергей Иванович направил меня к своим товарищам. Они, в составе большой группы электриков немецкой строительной фирмы, недавно прибыли в Киев для производства работ по восстановлению разрушенной энергосистемы города.

Сколько в той группе было русских, а тем более сколько из них были «союзниками» (т. е. членами НТС) – мне узнать не пришлось. Хорошо запомнились лишь некоторые, с кем потом пришлось встречаться в разных жизненных ситуациях. Это были Малик Мулич, Олег Поляков и Клавдий Цыганов.

А непосредственно по делам Организации мы общались еще с двумя товарищами из их среды – Борисом Фоминым и Мирославом Чипиженко. Они были из группы выпускников кадетского корпуса в Белой Церкви, что в Югославии.

Борис и Мирослав, сменяя друг друга, были моими наставниками, советниками и консультантами в деле – и при привлечении новых членов в Организацию, и в организации нашего первого звена. Они же были ответственными за первые шаги в нашей теоретической подготовке и в дальнейшем оставались моими старшими товарищами и добрыми, отзывчивыми друзьями.

Они стали совсем своими и в нашем семействе, часто бывали у нас в доме, их с открытой душой приняли мои родители и сестры. Мы все скучали, если кому-нибудь из них приходилось надолго отлучаться из города.

Оба были сыновьями казачьих офицеров, с семьями эмигрировавших в Константинополь, а потом, уже в 1922 году, переехавших в Югославию. Борис даже родился на пароходе во время этого переезда. Их родители дружили между собой, помогали друг другу в изгнании. Подружились и их дети, несмотря на различие в характерах. Дружба окрепла в кадетском корпусе и, подогретая ностальгией по Родине – чудесной стране, которую они видели только в своих снах и о которой знали по рассказам родителей, – сплотила их в общем устремлении на Восток.

Они как бы дополняли друг друга. Борис был обаятельным и красивым человеком. Он обладал эффектной внешностью, всегда нравился женщинам всех возрастов. Именно таким я представлял себе русского офицера дореволюционного периода. Он хорошо играл на гитаре и прекрасно пел приятного тембра баритоном, причем делал это с видимым удовольствием. В его репертуаре было многое из того, что родилось в эмиграции, армейские и казачьи дореволюционные песни, народные русские и даже советские песни. Мирослав же был очень скромный, тих, охотно укрывался в тени своего активного, бойкого товарища, словно со стороны наблюдая за обществом и за всем, вокруг них происходящим. Он казался вполне довольным своей ничем не примечательной внешностью, только при необходимости проявляя другие, как бы скрытые свои качества: острый ум, широкую эрудицию, доброту, душевную щедрость.

Они оба всего на три года старше меня, но намного при этом самостоятельнее, взрослее... Эти качества, воспитанные в них их наставниками, самостоятельность молодых мужчин, уже узнавших свою цену, видны были невооруженным глазом, проявлялись в каждом их поступке.

Мне жаль было, что мы познакомились с ними так поздно, что учеба в институте осталась для меня в прошлом, что контакты со сверстниками так быстро нарушились. Еще бы: совсем недавно с помощью таких вот друзей, как они, сколько же можно было найти в студенческой среде политических спутников, сколько новых членов Организации!

Попались в мои «сети» тогда только Игорь Белоусов, мой лучший друг, который неожиданно появился в нашем доме после долгого перерыва, да еще, через него, две сестрички-двойняшки по фамилии Мельник – подруги Игоря. Потом примкнула к нам моя младшая сестра Нина (должно быть, сводная, потому что зарегистрирована она была на фамилию отчима Страттиенко). Она вошла в нашу группу со своей коллегой по работе Лесей, у которой, по совпадению, была моя фамилия – Луценко.

Игорю я был особенно рад. Перегруженный новостями от брата Александра и Сергея Ивановича, я уже не мог в себе их удерживать. И собирался сам разыскать своего друга, чтобы поделиться ими и испытать на нем их значимость.

Игорь жил довольно далеко, на окраине Киева, за Батыевой горой в Боршаговском тупике, и скрывался от мобилизации в Германию, одновременно подрабатывая в пригородном совхозе. В семье его были только мама, Ксения Андреевна, и сестричка Виктория. Отец Игоря недавно привез семью из Новочеркасска. Его, как молодого специалиста с дипломом инженера-строителя, распределили в Киев на секретную стройку. Умер он в первые дни оккупации города, не завершив строительство собственного дома и оставив семью без средств, в беде и горе. Игорь оказался единственным мужчиной в семье, ее надеждой и опорой, и относился к этому очень серьезно. Как, впрочем, ко всему, чем жил и чем интересовался: к музыке, поэзии, медицине, земледелию и к своей младшей сестричке.

С Игорем наши политические симпатии и антипатии были уже и до этого выверены, как часы перед военной операцией. И при очередной встрече, при поступлении любой новой информации мы проводили с ним наши «консультации».

Понял он меня и на этот раз, поддержал в моем начинании и еще более укрепился в своем мнении после знакомства с Фоминым и Чипиженко. Подружились они сразу, с первого часа знакомства. Игорь без всякого колебания примкнул к нашему звену.

Самые большие сомнения вызывала у меня моя младшая сестра... Как же мне не хотелось втягивать ее в эту мужскую игру! Она была красива, моя сестренка. И влюблялись в нее все. И Игорь, и Борис Фомин, и Мирослав, а позже и Борис Оксюз. А она никому не отдавала предпочтения. Ей тогда было пятнадцать лет, шестнадцать исполнялось только в самом конце 1942 года! И, как многим в таком возрасте, ей очень хотелось поскорее стать взрослой!

Нужно признать, что в нашей семье сестра действительно была уже в числе взрослых: она тогда уже самостоятельно работала. Их было двое работников в нашей семье – Нина и отец. Только они систематически приносили в дом хоть кое-какие продукты питания. Остальные же, и я в том числе, были только иждивенцами и подрабатывали где удавалось. В мои обязанности, в частности, входило обеспечение дома топливом. В паре с кем-нибудь из товарищей я пилил и колол дрова, доставлял их из подвала на четвертый этаж... А еще выстаивал иногда по несколько часов в очереди за пайковым хлебом в магазине (когда мама была занята) – и это был для меня самый тяжелый труд. И за водой у колонки.

Но родители старались оберегать меня и от этого: на улицах было опасно.

Несовершеннолетняя же сестра успела к тому времени довольно сносно разобраться в немецком языке – настолько, что ее даже взяли на работу в «Центросоюз» кооперации «Вуко-опспилку» на должность секретаря и переводчика. Так получилось, конечно, не без помощи отца, который в этой организации заведовал промтоварными складами и завел с немцами коммерческие связи. Но все же это было и личным успехом сестры. Она была очень способным ребенком. Даже в школе у нее никогда не было оценок ниже пятерки!

Нина освоила работу на пишущей машинке, как с русским, так и с немецким шрифтом. А зимой 1942 года она стала студенткой нашего медицинского института, хотя до войны успела закончить только восьмой класс. Ради этого ей пришлось «утратить во время пожара» свои документы об образовании и свидетельство о рождении. Они со старшей сестрой использовали некоторое портретное сходство и «вдвоем» сдали вступительные экзамены.

Безусловно, в этой аванюре помогло и то, что приемная комиссия практически утратила всякую бдительность. К тому времени совсем уже не важны были ни успехи абитуриентов, ни экзамены, ни даже сам институт. Педагоги уже просто доигрывали свои роли в этой трагикомедии. Заработную плату им не платили, изредка только давали что-нибудь из продуктов. Каждый из них знал, что учебное заведение обречено: институт немцам стал не нужен.

Мы жили тогда очень трудно, впроголодь, как и весь город. Если становилось совсем невтерпеж, мама собирала кое-что из одежды, залежалое тряпье, обувь, без которой можно обойтись, прихватывала меня, и мы отправлялись в села, километров за пятьдесят-семьдесят для «коммерческих операций» – обмена нашего «товара» на продукты. Домой мы приносили подмороженный картофель, тыкву, а если повезет, то немного крахмала или муки.

Такие походы бывали подчас и очень опасными – в окрестных лесах находили себе убежище «дикие люди». Они тоже называли себя партизанами и не гнушались насилиями и грабежами. Но что было делать? Приходилось пробираться туда, где еще не наступил голод.

Жили мы одним днем и совсем не задумывались о том, что будет с нами завтра. Да было бы наивным в ту пору, в нашем положении думать о своем будущем. Вокруг все рушилось, все горело, умирало.

Новые друзья принесли в наш дом живую струю оптимизма. Подарили нам хоть и иллюзорную, но все же надежду на будущее. И нам начало казаться, что «завтра», возможно, наступит, и мы останемся в живых, и всю оставшуюся жизнь проживем вот так дружно. А даст Бог – еще и рядом с этими милыми товарищами. И голод становился не так уж и страшен, и беда не совсем бедой, и горе было терпимо.

Ребята получали на своей работе продовольственный паек и часто приносили с собой что-нибудь, иногда даже водку. Тогда устраивали праздник! И это было совсем немаловажным для всей нашей семьи.

Как-то незаметно появился с ними Александр Ипполитович Данилов – не нарушив общей атмосферы, а даже укрепив ее, будто сгустив краски, сделав их еще более контрастными. Товарищи уважительно называли его «Шефом», хотя и были с ним на ты. И в этом обращении не было иронии, только тень шутки.

Я и подозревать тогда не мог, какую огромную роль в моей жизни суждено сыграть этому необычному человеку!

Данилов был старше своих товарищей лет на десять. Однако с первой минуты возникало ощущение, что их связывает хорошая мужская дружба. Так оно и было. Он, как разъяснили ребята, был их наставником – «нянькой» – во время их учебы в кадетском корпусе. По образному выражению Фомина, он в недавнем прошлом «подтирал их детские сопли».

А из нас четверых: меня с Игорем и сестры моей Нины (это мы с ней на фотографии, но совсем из другого времени – 1944 года: в Киеве в период оккупации сфотографировать было просто негде) с ее подругой Лесей Луценко – Ипполитыч образовал молодежное звено Организации. Первым делом он с попеременной помощью Фомина и Чипиженко занялся нашей довольно глубокой теоретической подготовкой в разрезе специальной программы – по спектрам, комплект которых имелся у каждого из них.

Угроза попасть в Германию становилась с каждым днем все более реальной, меня мог выдать даже кто-нибудь из «доброжелателей»-соседей. Пришлось некоторое время прятаться по чужим квартирам. А потом, оставив только что образованное звено НТС на Игоря, по чужим документам я уехал на неопределенное время в Винницу, в гости к тетушке Анюте – сестре моей мамы, в поповский дом, под защиту ее мужа священника о. Иоанна Кишковского.

В этой многодетной семье, члены которой еще не успели перестроить свою психологию эмигрантов и жили по собственным, особенным правилам, царил незнакомый мне и даже не всегда понятный микроклимат. Все там было расписано, регламентировано в соответствии с церковным календарем, для каждого определено свое место. На «работе» при архиерее и в Духовной консистории были заняты все мужчины без исключения. Кроме взрослых – главы семьи, отца Иоанна, и зятя, Николая Урбанского – чиновника Духовной консистории, в свите архиерея состояли на должности иподиаконов и два младших сына отца Иоанна – четырнадцатилетний Юрий и Леонид, которому тогда не исполнилось еще и двенадцати.

Просторный поповский дом служил в некотором роде и гостиницей для священнослужителей, приезжавших в Винницу по делам своих приходов. Хозяйкой, смотрительницей этой «гостиницы», а заодно и уборщицей была матушка Аня; ей помогала беременная первым ребенком дочь Татьяна.

Мы с моим братиком Юрой ночевали именно в этой «гостиничной», часто в обществе молодых и «не совсем молодых» священников, только что принявших сан. И мы с иронией наблюдали вблизи, как бы с тылу, уклад жизни и поведение этой разношерстной публики.

Так открылась для меня возможность заглянуть в небольшую ячейку другого социального и политического мира, который существовал как бы по другую сторону окопов, разделивших наше общество еще со времени Гражданской войны. Они, эти виртуальные окопы, существуют, как ни странно, и в наше, послеперестроечное, время.

Особенность была (да так, впрочем, и осталась до наших дней) в различии убеждениям между массами людей. Теми, кого привыкли в нашей стране со времен революции звать белыми, что было синонимом «чужие», и красными – т. е. теми, кто считались «своими».

Еще в 1920 году Кишковский с супругой и двумя мальчиками на спинах, ограбленные и униженные, убегали от большевиков вброд через реку. Велика была вероятность выстрелов в спину. Иван Антонович обратился с молитвой о помощи к Господу Богу и дал зарок посвятить всю свою оставшуюся жизнь и всего себя Ему, если Он поможет им остаться в живых.

Обещание свое он выполнил и спустя некоторое время был рукоположен в священники, однако от ненависти к большевикам избавиться так и не смог. И своим детям Кишковский передал по наследству и великую веру в Бога, и ненависть к большевикам.

В те годы в доме Кишовских в Виннице на всем чувствовался отпечаток мира белых. Их старшие дети один за другим связывали свою судьбу с НТС. К тому времени старший сын Александр закончил университет и жил с семьей в Варшаве. Он активно участвовал в деятельности Организации на одном из самых опасных ее участков, в так называемом закрытом отделе Вюрглера. Средний – Алеша – в свои двадцать лет за участие в том же НТС уже больше года сидел в Ровенской тюрьме гестапо»; судьба его оставалась неопределенной.

Позже, после войны, он эмигрировал в Австралию и стал там издателем русской эмигрантской газеты. Членами Организации были и оба зятя Кишовских – Юрий Пинковский и Николай Урбанский, и обе дочери – Раиса и Татьяна. Они до войны составляли семейное звено Организации.

Чету Пинковских на этот раз я в Виннице не застал – они еще оставались в Дубно, пытаюсь хоть чем-нибудь облегчить судьбу попавшего в беду брата.

Николай Урбанский, хорошо теоретически подготовленный для политической работы, поддерживал связь с Широковым, руководителем представительства НТС в городе, и жил в своем прицерковном мирке вполне автономно, почти не имея контактов с окружающей средой.

Пинковские уехали в Германию, потом эмигрировали в США. А Урбанским пришлось задержаться в городе Стрий Львовской области из-за болезни только что родившегося у Татьяны ребенка. И судьба их оказалась драматичной...

А тогда, в 1943 году, атмосфера в семье Кишовских вполне соответствовала моему политическому настроению.

Бродить по улицам и в Виннице одному было опасно. Мужчины все, от мала до велика, отправлялись на службу, а мне приходилось отсиживаться дома, коротая время в женском обществе. Я понемногу отъедался после киевского голода, стесняясь своего неумного аппетита, и подолгу засиживался с книгой в руках. У них было многое из того – для меня загадочного – мира эмиграции. Все становилось открытием: я раньше даже не подозревал о существовании большого пласта совсем другой, но тоже русской культуры.

Друзьями стали мне книги генерала Краснова (того самого атамана, которым у нас пугали детей!) с интригующим названием «От двуглавого орла к красному знамени» и братьев Соло-

невичей с их тайнами темного мира – советского ГУЛага. Насколько мне помнится, именно там же я впервые познакомился с Платоновым и Булгаковым.

В Киев мне представилась возможность возвратиться только в конце февраля 1943 года, когда наш недруг, военный комендант города, попал на фронт и «особые» прегрешения студентов постепенно забылись.

Родители нашли новый способ оградить меня и мою старшую сестру от попыток «хозяев города» отправить нас в Германию. Они нашли девочку, болеющую открытой формой туберкулеза, по фотографии в паспорте немного похожую на сестру, заплатили ей за представительство, и... медицинская комиссия заверила печатью в документе сестры негодность и даже инфекционную опасность этого «субъекта» для германского народа. Однако на «бирже труда» – в ее охране – оказался парень, знавший меня лично. Он подошел к «сестре», чтобы познакомиться и с ней. Пришлось нам срочно сворачивать «эксперимент».

В деле обеспечения личной безопасности на этот раз неожиданно помог Данилов. Мне и Игорю он смастерил справки на серой оберточной бумаге (такие тогда часто выдавали в подобных случаях), заверенные «почти настоящей» печатью с немецким гербом. В этих «документах» было обозначено, что «предъявитель работает в “Организации” с полевой почтой №...» – и стояло загадочное шестизначное число. Так в первый раз мне пришлось воспользоваться знаменитой «липой» великого мастера этих дел – Данилова. Справка, на мое счастье, действовала безотказно при проверках документов на улицах и выручала меня несколько раз в довольно сложной обстановке.

А еще Данилов велел нам с Игорем запомнить номер телефона в Берлине. Это был телефон Казанцева в штабе генерала Власова. Сомнительно, конечно, было, что нас допустят к аппарату в трудную минуту, но мы почувствовали заботу о себе и психологически стали поувереннее.

Так я заочно познакомился с Александром Степановичем Казанцевым. Не уверен, что и он познакомился со мной таким же образом. Но Данилов заверял, что тот был предупрежден о возможности нашего звонка.

За время моего отсутствия ребята группы преуспели в теоретической подготовке, а также помогали Данилову в работе типографии, которую он развернул еще в конце 1942 года. Нина с подругой печатали тексты листовок на восковках – бумаге, пропитанной воском. Потом текст из восковок на ротаторе типографской краской отбивался на обычную бумагу. Игорь по графику, один раз в неделю принимал участие в процессе самого печатания – он «очень талантливо» крутил ручку ротатора несколько часов кряду и помогал потом паковать листовки в удобные для перевозки пакеты. Я тоже иногда поступал под начало шефа типографии Мiroслава Чипиженко для такой работы.

Мы не замечали тогда, что и наша одежда, и мы сами испачканы типографской краской, пропитаны ее запахом. Окружающие на это тоже не обращали внимания – в городе не было воды, и от всех чем-нибудь да пахло.

Редактором, кроме Данилова, считался Олег Поляков.

На черных работах в типографии заняты были ребята из других групп, но встречаться с ними приходилось редко. Однако Игорь до моего приезда уже успел познакомиться с некоторыми из них.

Наши шефы – Данилов со своими помощниками – до самого моего возвращения из Винницы очень жестко контролировали процесс привлечения новых членов в Организацию и требовали как тщательного отбора кандидатур, так и особых мер конспирации.

Игорь брюзжал. Он был недоволен строгостью дисциплины. По его мнению, это сильно сдерживало расширение Движения. Ему уже тогда хотелось свободы в работе, доверия и самостоятельности. Его поддерживали в этом ребята из других групп.

Вообще-то, многие из тех, с кем нам приходилось общаться по вопросам политики, особенно молодежь, понимали нас. Некоторые полностью разделяли наши взгляды и готовы были примкнуть к Движению, но высказывали пожелания более определенной, понятной позиции и скорейшего начала активных действий. Можно было бы развернуть работу и в партизанских отрядах. Однако там тем более требовалась ясная политика и четкие лозунги.

Партизанские отряды действовали тогда во многих южных районах Украины, где и лесов-то не было. Они отличались мобильностью, были малочисленны, всего по несколько десятков человек, и состояли в основном из бывших военнопленных и сельских ребят допризывного возраста, бежавших от мобилизации в Германию. Им трудно было бы разбираться в особенностях городской политики. А Программа НТС по тем временам рассчитана была именно на интеллигенцию и городскую молодежь.

А время уже поджигало – фронт приближался к Киеву с каждым днем.

«Я и сам считаю, что срочно нужно что-то менять в нашей тактике, необходимо принимать какие-то более радикальные меры, – признался нам как-то Данилов. – Того же требуют и мои “коллеги”. Колеблется пока Николай Федорович, но это не личное его мнение, а привычка к жесткой дисциплине».

Однажды в наш дом кто-то привел Бориса Оксюза (это он на фото). Я не помню всех обстоятельств, но с мая 1943 года он уже был частым гостем у нас и, оттеснив всех других, стал основным любимчиком моей мамы. Борис завоевал ее сердце «на всю оставшуюся жизнь». Только переступив порог квартиры, даже после длительного отсутствия, только успев поздороваться, он сразу включался в хозяйственные дела. Спрашивал, чем может быть полезным для «госпожи коменданта». Чаще всего, конечно, не было дров. Или, по его мнению, их было недостаточно. Тогда, на ходу прихватив с гвоздика в передней ключи от нашего сарая, постоянную «специальную» веревку и «катушу» (это такой светильник на карбиде из снаряда «сорокапятки»), он отправлялся в наш подвал.

Борис был небольшого роста, внешне совсем не богатырь, однако сил и энергии у него хватало для того, чтобы почти бегом, без отдыха поднять на четвертый этаж вязанку дров, по весу ничуть не меньше, чем он сам. Он точил наши ножи, чинил распатавшиеся стулья, смазывал двери, чтобы не скрипели... Потом, наконец утомившись, занимал облюбованное им место на диване в гостиной.

А мама им любовалась: «Совсем как котенок, – говорила она с восторгом. – Ему везде удобно!» Действительно, Борис чем-то и мне напоминал отдыхающую кошку. Он, казалось, мог уютно устроиться где угодно: на жестком ли табурете, на подоконнике, даже на полу со сложенными по-арабски ногами.

Оксюз был очень скромным и даже стеснительным человеком. Стеснялся мятой одежды, того, что шинель пахнет «цикорием» (так отец называл раствор, которым немцы травили насекомых в одежде своих солдат). А больше всего он стеснялся, когда доставал из своего ранца обязательный кирпичик солдатского крутого хлеба, иногда добавляя к нему пачку немецкого пайкового эрзац-маргарина.

Мама еще больше стеснялась, принимая от него презент. Но отказаться было выше ее сил. В голодном городе такое подношение ценилось очень дорого. В нашем магазине хлеб появлялся редко, выдавали его по спискам – триста граммов на человека. А качество его было – хуже не придумаешь: в нем попадались кусочки льняного жмыха, опилки и еще что-то, что назвать своим именем язык не поворачивался.

Мама поила Бориса чаем, настоящим на каких-нибудь травах или на прожаренной моркови, даже с сахарином, кормила дерунами – оладьями из мороженого картофеля, жареными на том, «что Бог послал», с привкусом какого-то технического масла... А он ел с аппетитом и похваливал...

Потом просиживал какое-то время, иногда даже молча, если никто не набивался в собеседники, на своем любимом уголке дивана, забываясь подчас в сладкой дреме. Лечь «просто так полежать», как предлагала ему мама, отказывался наотрез. Потом решительно поднимался: – Ну все. Прощайте. Я поехал!

Надевал шинель, цеплял свой ранец... И не поддавался ни на какие уговоры посидеть до нашего прихода, подождать меня или сестру. Говорил, что опаздывает на поезд.

Его поведение, его быт и сама его жизнь долгое время оставались для меня загадкой, но с расспросами приставать казалось неудобно. Постепенно кое-что прояснилось. Борис уже тогда был полным нелегалом. Форма какого-то желто-зеленого цвета, в которой он постоянно ходил, была единственной его одеждой на любой сезон. Оказалось, что это была форма немецкой военизированной строительной организации «Тодт», оставленной им, но которая и помогла Борису приехать в Киев. Для него она служила прекрасным камуфляжем и не вызывала никаких подозрений у главных союзников – «бошей», как он называл немцев. Но самое главное, она была удобна и хорошо защищала и в жару, и в холод...

А кто был Борис – ответы на эти вопросы я получил только 60 лет спустя.

*Оксюз – Барулин – одессит, родился 25.01.1919. В 1924 году с родителями эмигрировал в Варну (Болгария). В Организацию НТС вступил в 1940 году. В Киев приехал в 1943-м. Он был постоянным доверенным лицом, курьером, связником Киевского отдела НТС – работу (должность), которую он исполнял, называли по-разному, как кому нравилось, но относились все к нему и его деятельности с большим уважением. В первый раз был осужден в 1944 году Особым совещанием на срок 20 лет, потом за деятельность в лагерях – в Мордовии – трибуналом к 25 годам лишения свободы и 5 годам поражения в правах... В 1954-м «Дело» его пересмотрено, срок снижен до 5 лет. В городе Черновцы в 1959 году его вновь судили на срок 7 лет, с 1964 года женился и жил в Одессе. Детей у них с женой не было. Умер 27.08.1988.*

*Похоронен в Одессе.*

Он знал, должно быть, очень много, посещал многие города, но никогда не рассказывал ничего о своих поездках.

Только однажды я слышал от него анекдотическую историю. По какой-то причине торопясь с отъездом, он сел в поезд практически без документов. И неожиданно попал под сплошную проверку. Пришлось на авось использовать командировочное удостоверение на чужое имя – какого-то фельдфебеля с двумя сопровождающими лицами. Тогда он сделал вид, что не понимает по-немецки и пытался жестами растолковать жандарму из патруля, что он – только один из сопровождающих господина фельдфебеля. Что в общем сидячем вагоне на этот раз едет только он («айн Манн»). А шеф – господин фельдфебель со своим помощником («унтер-офицером») едут в спальном вагоне. Правда, личные документы тогда у него были настоящие, еще и не просроченные, от какой-то полувоенной строительной фирмы. Жандармы ему поверили, только пригрозили в следующий раз высадить этого айн Манна из поезда.

Жил он тогда просто нигде. Ночевал как придется – иногда в поезде, иногда на вокзале, чаще в «Soldatenheim» – солдатских гостиницах казарменного типа. Постояльцев – командированных солдат – там кормили, выдавали им паек на дорогу, но с одним условием: пройти обязательную процедуру полной санобработки тела и дезинфекции одежды.

Иногда, будто случайно, с Борисом встречались у нас и Данилов, и кто-нибудь из «кадетов». Наша квартира была для них удобным местом встреч. Я знал, что еще одно такое семейное пристанище существовало на базе рода Брунстов и Поппелей. Там тоже было организовано молодежное звено НТС, состоящее из студентов. В него входили Ирина Брунст, Светлана Томилина, Лидия Еремина и Игорь Лещенко.

Судьба троих из них (Игоря, Светланы и Лиды) впоследствии тесно переплелась с судьбой моей сестры Нины. Все они получили свои сроки в 1947 году – чекисты сначала их «пожалели»: направили работать токарями на завод «Арсенал» в Киеве. На эту профессию был большой дефицит в первые послевоенные годы. А срок – по восемь-десять лет – тогда считался «детским», и осужденных на такие сроки чаще всего содержали в местных колониях. Однако потом кто-то «передумал» – потому, что девочки не соглашались принять участие в «игре» чекистов по розыску Данилова, Кишковского и иже с ними.

*Для Нины и Лиды Ереминой были определены Джезказганские медные рудники. Светлану Томилину ожидали Красноярская пересылка и Норильск.*

*Драматично сложилась и судьба братьев Брунстов. Дмитрий Викторович, старший из братьев (1909 года рождения), который был членом Совета и Исполнительного бюро НТС (это он сопровождал генерала Власова при поездке того по Чехии в апреле 1944 года), был захвачен тогда контрразведкой СМЕРШ, отсидел в лагере. Под его именем чекисты выпустили брошюру против НТС. Жил некоторое время в Ульяновске. А в 1991 году он оказался в Москве в роли зрителя Храма Василия Блаженного. Умер Дмитрий Викторович в 1995 году.*

*Брат его (должно быть, двоюродный, имени его я не знаю) жил в Киеве. Воевал в Красной армии против оккупантов, попал в окружение и в плен недалеко от дома. Освободила его жена. Однако здоровье было подорвано, и он вскоре умер. Вдова с дочерью впоследствии выехали в Германию, и след их потерялся. Однако недавно в киевских газетах появилось объявление о благотворительном обществе из Германии, возглавляет которое Ирина Брунст...*

Но это все потом.

А тогда Ипполитыч советовал Борису Оксюзу обзавестись в Киеве независимой вдовушкой для временного проживания (его бы с удовольствием приняли многие одинокие женщины), но тот отверг этот совет с негодованием. Он, как и многие другие товарищи и коллеги, уже постоянно пользовался поддельными документами. И не только для бесплатного проезда и ночлега, но еще и для пропитания за счет немецкого Вермахта. При этом сам он до тонкостей изучил технологию всех этих операций, и серьезных проколов у него не было.

На некоторое время он перестал бывать у нас, и я потерял его из виду. А полгода спустя, уже после эвакуации из Киева, мы неожиданно встретились в Виннице. Там он пробыл всего несколько дней и отправился в свою командировку дальше. Просил прощения за то, что не смог посетить мою матушку и сестер, и передал им поклон. На мой вопрос «куда сейчас?» махнул рукой в неопределенном направлении. Я не настаивал на уточнении. Оказалось потом, что он с двумя товарищами с проводником и рекомендации от советского подполья отправлялся в партизанский отряд.

В самом начале мая 1943 года Данилов возвратился из короткой командировки в Берлин. Ездил он вместе с Николаем Федоровичем Шитцем. Встречались там с Байдалаковым (Председателем Совета НТС в те годы), провели консультации с несколькими товарищами из руководящего звена. И убедили их в необходимости структурных перемен в системе Организации на Украине.

Они привезли большую и радостную весть – о реорганизации нашего Отдела НТС. Центр дал нам право формального выхода и разрешил отправиться в свободное плавание – с другим наименованием, новой программой, на свой страх и риск.

Начиналась новая, интересная и еще более опасная полоса политической жизни. Перемены были очень своевременны и необходимы, отчасти потому, что вся энергия Центра – Совета НТС – в основном направлялась в тот период на создание идеологической основы Русской Освободительной Армии и Комитета Освобождения Народов России.

Эти формирования в то время еще полностью зависели от немцев. В своей программе, демократической по содержанию, они вынуждены были признавать необходимость «почетного мира» с немецким Райхом.

Нас же такая позиция уже совсем не устраивала.

В программе нашего нового формирования оккупанты открыто причислялись к основным врагам российского народа.

«Новую» организацию решено было назвать Народно-Революционной Партией, сокращенно НРП.

Срочно были созданы первая Программа и Устав, выпущены в своей «типографии» несколько вариантов листовок – призывов к разным слоям населения России. И в них уже открыто, без всяких недомолвок новая программа была названа политической основой «Третьей силы», а основными противниками ее – врагами народа – как коммунисты, так и фашисты в равной степени. В листовках рассказывалось о преступлениях перед человечеством тех и других, содержались призывы к борьбе за установление в новом Российском государстве демократического правления.

НРП со своей политической программой сразу же привлекала внимание каждого, кто знакомился с текстом листовок. Мы развешивали их по улицам, подбрасывали в почтовые ящики, рассылали в другие области Украины.

Данилов после приезда сразу наметил отправку в другие города извещения о перемене курса в нашем региональном Отделе. В разные стороны разъезжались все, достаточно для этого подготовленные и мобильные.

Мне опять пришлось ехать в Винницу с заданием – предупредить о переменах резидента НТС Широбокова. Доверять эту информацию бумаге опасались, потому я должен был изложить дело своими словами. А Широбокову нужно было самому определить свой дальнейший путь: переключаться ли на более жесткий режим конспирации в составе НРП или же из Винницы срочно уезжать на Запад.

Я был, по молодости своей, бесконечно горд тем, что мне доверили участвовать в таком важном деле наравне со старшими товарищами, хотя понимал прекрасно, что поручение получил благодаря родственникам в Виннице, и боялся, что не смогу объяснить Широбокову суть изменений.

В тот период организационный и структурный порядок НТС(нп), как я тогда понял, несколько отличался от того, который был установлен по новому Уставу послевоенного периода. Отличие, в первую очередь, состояло в почти военной четкости структуры и некотором сходстве с системой средневекового Ордена. Позже эту особенность признали, должно быть, излишеством. И в новом Уставе всё, по мнению новых «законодателей», лишнее оказалось попросту выпущенным. Сейчас только в примечаниях к мемуарному труду Е. Романова встретил я подтверждение этому своему наблюдению.

Должно быть, в прежнем Уставе речь шла и о мерах усиленной конспирации, поскольку Отделы НТС существовали во многих государствах Европы и не только Европы.

Мною лично отмечено, что в Организации существовали определенные степени членства, по которым можно было судить и об опыте работника, и о праве самостоятельности, предоставляемом ему для проведения отдельных операций, и об ответственности его за их проведение.

Эти степени определялись в таком порядке: Сочувствующий, Член НТС, Старший член, Член-инструктор (или Член-руководитель?). Следующие степени, как я тогда понимал, относились уже к высшим руководящим звеньям Организации, как по регионам, так и в самом Центральном Совете.

Мы несколько месяцев – считая сами себя уже «политическими деятелями» Организации – числились официально Сочувствующими и подвергались испытаниям на небольших пору-

чениях. Потом, после определенной подготовки, официально и торжественно нас посвятили в Члены НТС.

Старший член был руководителем звена или небольшой группы, состоящей как из Членов, так и из Сочувствующих в период их подготовки и на начальной стадии деятельности.

Меня посвятили в Старшие члены через несколько месяцев после приема в Члены.

Член-инструктор – степень вполне самостоятельного, подготовленного работника, которому приходилось принимать решения автономно, при самых разных, часто непредвиденных обстоятельствах. Уже с начала 1944 года эта форма структуры, начиная с самого Центра, стала, вероятно, размываться и отмирать. Очень характерным в этом смысле показался мне факт, приведенный в книге мемуаров Евгением Романовым. Он пишет, что в Организацию официально так и не был принят. И это не помешало ему по поручению Евстафия Игнатьевича Мамукова в 1943 году объехать города Востока и Юга Украины для знакомства с делами Организации – хотя это и было явным нарушением Устава того времени. И еще: по свидетельству Романова, Центр влияния НТС в Украине находился тогда в Днепропетровске и руководство работой во всем регионе осуществлял Евстафий Мамуков.

Я же был свидетелем очень активной деятельности Киевского Центра, бессменно руководил которым в годы оккупации Николай Федорович Шитц. Он был и членом Совета нескольких послевоенных созывов; первым из представителей Организации появился в Киеве, а уехал оттуда, по-видимому, последним.

Помощником и заместителем Шитца, организатором работы с молодежью, подпольной редакции и типографии, а кроме того, специалистом по изготовлению всяческих «липовых» документов (что имело большую важность в самые тяжелые годы немецкой оккупации) был Александр Ипполитович Данилов.

Можно лишь предполагать, что на Украине в 1943 году существовали два более или менее автономных центра НТС: один на Юге, в Днепропетровске, другой – в Киеве. Однако не вызывает сомнения факт их взаимосвязи, а также использования литературы, изготовленной именно в Киеве.

В книге Л. Рара и В. Оболенского «Ранние годы» сказано, что на Украине «под влиянием НТС» появились отряды партизан и что А.В. Поппель для их координации создал там «тайный пункт НТС».

Фамилия Поппель по каким-то забытым уже сегодня обстоятельствам зависла с тех пор в моей памяти. А Светлана Томилина (Васнецова) только теперь разъяснила, что хорошо знала его; более того, участница их группы Лида Еремина была племянницей Поппелей.

Позже, после эвакуации из Киева, Светлана и Игорь Лещенко, как оказалось, некоторое время жили вместе с супругами Поппель в заброшенном доме во Львове. Им было не до политики. Они голодали и просто старались выжить, как все беженцы того времени.

Однако версия о партизанских отрядах в районе Киева «под влиянием НТС» – все же явный перебор. Об этом ничего не знал тогда не только я, но, безусловно, и Данилов.

Я точно могу судить об этом, так как все наши помыслы в те годы были направлены на поиски контактов с партизанами. И это нам никак не удавалось сделать. Отряды в Средней и Южной полосе Украины были очень мелкими, разрозненными, имели только местное значение. Кроме того, материальной, кормовой базой связаны они были с селами, откуда вышли сами и где жили их родственники. Это особенно важное обстоятельство, поскольку без связи со своей базой, родственниками и друзьями им пришлось бы просто грабить местное население, как делали немцы, и лишиться по этой причине всякой поддержки.

Выходить на связь с сельчанами тогда мы еще не могли – сельские жители нас просто не поняли бы.

В северной, лесной, части Украины, примыкающей к Белоруссии, Орловщине и Брянщине, жизнь в этом смысле была явно повеселее. Там к партизанам примкнуло и большое количество военнопленных.

Летом 1943 года куда-то в те районы отправлялся Олег Поляков в группе из двенадцати молодых людей. Они каким-то образом были легализованы у немцев и имели от них личное оружие с документами на право его ношения.

Узнал я об этом совершенно случайно: мне пришлось по заданию Данилова участвовать в имитации кражи чемодана с пистолетом у Полякова на вокзале. Пистолет этот – системы «Вальтер» – так и оставался у Данилова до конца 1944 года. Простую, но очень опасную по тем временам операцию мы выполнили с Игорем Белоусовым. Если бы нас задержали, а это было вполне возможно, то расстреляли бы, безусловно.

Перрон тщательно охранялся немецкой жандармерией и украинскими полицейскими. Местных жителей к поездкам без особых пропусков не пропускали. Чтобы остаться незамеченными, к месту, где были сложены чемоданы и рюкзаки, нам пришлось пробираться по рельсам под вагонами. Чемодан с пистолетом в нем мы утащили не без помощи самого Олега, но при этом, признаться, очень перетрусили.

Я полагаю, что отряд с участием в нем Полякова отправлялся тогда именно на север Украины, может быть, и дальше – в район станции Локоть, в так называемую Болотную республику Каминского, или в другое место скопления «лесных братьев». А цель командировки была – пропагандистская работа. Партизанами в ту пору часто назывались и отряды «зеленых» – людей, укрывшихся в лесу от всех и воюющих против всех, с неопределенной политической направленностью. Именно из таких «партизан» сформирована была позже первая дивизия генерала Власова.

Но, может быть, тогда-то мы и прикоснулись к секретной операции с участием того самого таинственного Поппеля, который упоминается и в литературе НТС? Расспрашивать Данилова, да еще только ради удовлетворения собственного любопытства, было, конечно, табу.

Летом 1943 года Киев был полуразрушен и почти пуст. Жители разбежались по окрестным городам и селам. Кто-то еще прятался в полуразрушенных домах, кто-то укрылся в пригородном лесу или дачных поселках. Из районов города, примыкающих к Днепру, под угрозой расстрела были выселены абсолютно все. Левый берег Днепра лежал весь в огне и дыму. Дым расстилался и клубился по пустынным улицам.

В начале июня самостоятельно уехал из города дальше на Запад Игорь Белоусов, прихватив с собой одну из сестер-близняшек Мельник – Веру. Это стало для нас полной неожиданностью, потому что его невестой считалась другая сестра – Надежда.

Перед отъездом он на всякий случай записал адрес моих родственников в Виннице. Других адресов для связи в этом огромном разорванном мире у нас уже не было.

Фронт подошел совсем близко. Отчетливо, и не только ночью, слышна была артиллерийская канонада и отдельные взрывы.

Наконец пришел черед и нашей семье решать свою судьбу. Отец сообщил, что из Киева в Винницу отправляется последний обоз – несколько грузовых автомашин, груженных наиболее ценными товарами с его склада. Была возможность уехать, сидя на этих тюках. Позже, когда немцы начнут выгонять всех из города, придется или прятаться в городском подвале, или уходить с котомками в пешем порядке.

И мы решились...

Я сообщил и Данилову адрес родственников в Виннице. А кроме того, мы с ним условились о форме моей автономной деятельности, если судьбе будет угодно, чтобы мы больше не встретились.

А в Виннице был еще глубокий тыл. И нас гостеприимно встретили наши родственники. «Поповский» дом был довольно большим и вместительным, и мы, по меркам беженцев, довольно комфортно разместились, никого даже не стесняя.

Отца в областном отделении его «Центросоюза» («Вукоопспилки» – на украинском языке) тоже приняли как старого друга и дорогого гостя. Свою деятельность в системе кооперации он начинал именно в этом городе, и «земляки» всегда считали его своим представителем в столичном центральном органе.

Вскоре, уже дней через десять, нас разыскали Борис Фомин с Мирославом Чипиженко. Они – конечно, по моему совету – передали матушке «привет» от ее сына Александра Ивановича, показав таким образом, что для хозяев дома они люди не совсем чужие. И были приглашены пожить у них «для усиления гарнизона».

Потом приехал Данилов с каким-то незнакомым мне, пожилым, как я считал, человеком. И с «приветом» от Александра они тоже остались «в гарнизоне» у Кишковских. Потом приехали еще знакомые и не совсем знакомые «друзья» Александра Ивановича...

Места в доме уже не хватало, и матушка Аня помогла вновь прибывшим расселиться у прихожан в соседских домах.

Кульминационным пунктом в этой истории стал приезд Малика Мулича. Тот не стал искать церковь в Старом городе, а просто спросил об отце Иоанне Кишковском в головном городском соборе. Его направили в кабинет правителя Духовной консистории. И там Малик, не выносивший неправды даже в малом, честно признался отцу Иоанну, что с сыном его в Варшаве он лично знаком не был, но «привет» от Александра Ивановича должен помочь ему встретиться с товарищами.

Отцу Иоанну и раньше не нравилось это затянувшееся гостеприимство и стало в тягость принимать в доме такое большое количество гостей. Тем более что Консистория, которой он руководил, рассчитывала на эту жилплощадь для ночлега священников, приезжавших по делам приходов.

А еще Иван Антонович был очень обижен тем, что имя его сына использовали для пароля, а дом его – как политическую явку.

Словом, нашим друзьям хозяева указали на дверь.

А моя мама почему-то обиделась за них на своих родственников и наказала и нам собирать манатки.

В городе, переполненном беженцами и различными оккупационными службами из восточных городов Украины, квартиру найти оказалось делом не просто нелегким, но даже совсем невозможным. Помогли и на этот раз коллеги отца – винницкие кооператоры. И мы уже через день заняли большую деревенскую избу.

С нами «временно» переселились Данилов, Фомин, Чепиженко и Мулич. Остальным членам «коммуны» пришлось расселяться по углам в Старом городе – сельской окраине областного центра.

Данилов со всей своей командой не рассчитывал задерживаться в Виннице, однако, взглядевшись к обстановке, изменил свое мнение. Город, с его точки зрения, оказался по тем временам необычайно интересным и перспективным для нашей Организации.

Около Винницы размещался подземный бункер со штабом самого Гитлера, и в городе в связи с этим была введена повышенная режимность, что выражалось в усиленных постах жандармерии, в необычайных для небольшого города мощных гарнизонах СС и СД, во множестве очень высоких чинов СД и гестапо на улицах. Однако, несмотря на все это образцовый порядок по немецкому образцу оккупантам в Виннице организовать не удавалось.

Да и какой мог быть порядок, если небольшой областной центр превратился во временную столицу оккупированной Украины! Население в нем увеличилось в несколько раз и продолжало расти с каждым днем. По железной дороге эшелон за эшелоном прибывали команды

гарнизонных служб и аппарат чиновников из тех городов, которые были уже освобождены от оккупантов или за которые еще шли бои. На домах в центре города и во многих переулках можно было встретить вывески комендатур, правлений и других учреждений не только Житомира, Бердичева, Фастова, но и Полтавы, Днепропетровска, Кировограда, Харькова, даже Ростова и Новочеркасска...

Широбоков еще некоторое время оставался в Виннице. Продолжая представлять только НТС в городе, о чем, конечно же, были информированы немецкие спецслужбы, он тайком встречался с Даниловым и оказывал его группе посильную помощь и поддержку.

Я считаю, что это именно он, использовав свои связи, помог Данилову найти помещение для жилья и под «технические нужды». Жилье это было, мягко говоря, не совсем комфортабельным, но после основательной уборки и небольшого ремонта летом и даже осенью, при спартанском образе жизни, вполне еще могло послужить. Это был деревянный заброшенный сарай, наполненный старой металлической рухлядью, собственностью товарной конторы железной дороги. По поддельным документам Данилов зарегистрировал в комендатуре на этот сомнительный адрес липовую фирму, эвакуированную из Киева.

И тот же Широбоков помог еще и увезти из городской типографии рулон бумаги весом около сотни килограммов. Подпольная типография, таким образом, была обеспечена.

В Виннице 1942–1943 годов создалась по сравнению с другими городами Украины особая политическая обстановка.

По подсказке местных жителей немцы обнаружили там захоронения жертв советских репрессий 1937–1938 годов. Организовали раскопки братских безымянных могил: они были нагло расположены в самом центре – в парке Культуры и отдыха им. Горького, сразу за зданием областного управления НКВД.

Военнопленные из лагеря, размещенного недалеко от города, разогретые немецким шнапсом, весело и дружно раскопали эти могилы и разложили на обозрение жителям города и окрестных деревень полуистлевшие трупы.

Их было почти десять тысяч.

Рядом сложили их одежду и, отдельно, целую гору хорошо сохранившихся документов.

Немцы развернули огромную агитационную кампанию вокруг раскопок. Они свезли из всей Европы ученых для изучения трупов и духовенство высшего ранга для участия в перезахоронении их.

Были найдены обвинительные заключения на многих из расстрелянных и приговоры трибунала с осуждением к восьми или десяти годам исправительно-трудовых лагерей, «без права переписки».

Многие жители города и окрестных деревень узнавали своих родных и близких. Они не виделись всего только пять-шесть лет, людей арестовали лишь за потенциальное инакомыслие, и вполне можно было рассчитывать на скорое их освобождение.

Был там и муж моей крестной, тети Дуси, Александр Зарицкий. Он тоже был осужден в те годы в Виннице к десяти годам «без права переписки». Но его следов нам найти не удалось.

Раскрытая тайна массового убийства повергла народ в шок. Город наполнился плачем и проклятиями в адрес палачей. Были организованы пятнадцать торжественных перезахоронений расстрелянных с участием духовных и светских представителей многих стран Западной Европы.

Активное участие в перезахоронении приняла Православная церковь с участием архиерея Евлогия и с организационными хлопотами благочинного – отца Иоанна Кишковского. А дело это было совсем не простое. Я – студент-медик, много часов проводивший в «анатомках» на разделке трупов, смог выдержать только одну экскурсию на раскопки, Ивану же Антоновичу приходилось там проводить ежедневно по несколько часов.

Интересно, что после освобождения Винницы советскими войсками на кресте над общими могилами появилась кощунственная надпись: «Тут похоронены жертвы фашизма».

Только в 2002 году материалы о трагедии в Виннице появились в Интернете (статья «Незабытые могилы» Сергея Вейгмана). Есть там и фотография: на фоне разложенных на земле останков жертв Винницкий архиерей о. Евлогий, архиерей из Ровно и протоиерей о. Иоанн Кишковский (электронная версия № 10 (206), 19–25 марта 2002 г.).

В Виннице нам удалось войти в контакт и сблизиться отдельными членами руководящего Центра советского подполья области. Они вынуждены были значительно откорректировать свою политическую программу и под тяжестью неопровержимых фактов преступлений перед своим народом осудить своих хозяев.

И это было за десять лет до «откровений» Хрущева на XX съезде ЦК КПСС!

Еще более решительным оказалось настроение в партизанских отрядах, с которыми постоянную связь поддерживал городской подпольный Центр. Нам об этом рассказал молодой связник Центра.

Никогда еще не было такого единства мнений в оккупированном регионе. Все, от духовных лидеров христиан – епископа Евлогия и протоиерея Иоанна Кишковского, и до мальчишек – охранников советского подпольного Центра, в те дни признавали, что для народа одинаково враждебны оба противоборствующих режима – и Гитлера, и Сталина.

От решительного разрыва отношений с коммунистами руководителей Винницкого Центра удерживала только годами выработанная привычка к «партийной дисциплине», да еще то, что, несмотря на свою личную порядочность, они принадлежали к категории деятелей, едва ли не на подсознательном уровне выдрессированных большевиками в системе подчинения и безусловного послушания.

У меня с собой еще из Киева было письмо профессора Учебного центра «Вукоопспилки», адресованное главному инженеру Винницкого плодокомбината, с просьбой оказать мне заботу и помощь в обустройстве. Этот милый, очень немолодой человек преподавал на курсах, где я учился несколько месяцев до поступления в институт.

И я довольно тепло был принят руководителями этого учреждения и зачислен на работу в должности технолога-аппаратчика по засушке овощей и фруктов. А там уже я познакомился с целой группой подпольщиков.

Отец мой – и более того – у него оказались старые дружеские связи в кругах близких к подпольному Центру. Доверие их распространилось и на наших друзей. Вскоре благодаря этому состоялась встреча «на высшем уровне» – их руководителей с Даниловым.

До согласования своих действий и взаимной помощи они, конечно, не договорились, да и не пытались делать это, но нашей литературой подпольщики очень заинтересовались, и несколько пакетов с листовками было переправлено ими партизанам.

Оказалась возможной даже встреча с «лесными братьями», но времени для этого у нас уже не оставалась. Ушел в лес только Борис Оксюз с двумя молодыми ребятами из местных. Всем остальным нужно было срочно оставлять и Винницу.

Мне лично очень хотелось бы остаться в этом чудесном городе. Были и предпосылки для этого – хорошее, доверительное отношение ко мне местных товарищей и твердая уверенность в устройстве своей судьбы в личном плане. Но я прекрасно понимал, что с приходом «наших» общее настроение в городе обязательно изменится, меня советские «органы» в покое не оставят. Предстояла бы очень тщательная проверка, а в небольшом городе все знали всё и обо всех. Особенно важным было то обстоятельство, что очень многим было известно о моем родстве с Кишковскими.

И очень хорошо, что я не остался.

Зять Кишковских, Николай Урбанский, не успел с семьей прорваться на Запад и попал в руки чекистов. В городе Стрий его просто забили до смерти. Умер и их ребенок. Татьяна осталась одна, без всякой поддержки, во враждебном для нее окружении.

И тогда, как она поняла, ей крупно повезло; то был, должно быть, единственный шанс для молодой женщины просто выжить. Татьяну, безусловно, загнали бы куда-нибудь в отдаленные необжитые края страны, но ей предложил руку и сердце офицер НКВД. И взял на себя ее защиту, хотя и пожертвовал при этом своими, завидными тогда, должностью и званием.

И он тоже, казалось, очень легко отделался. Ведь обычно из органов даже уйти было не так-то просто. А уж женившись на женщине из вражеского лагеря – тем более. Но дело в том, что не обошлось без хитрости с их стороны: чекисты с тех пор всегда имели свежие новости обо всех представителях клана неугомонных Кишковских, в лоне которого подрастало еще и молодое поколение.

В ту пору мы так и не узнали достоверно, каков же был результат наших встреч с подпольщиками и как поработала на нас наша литература. Узнали потом. Много лет спустя мне на своей шкуре пришлось почувствовать, что результат нашей деятельности в Виннице все же был, и очень даже приличный...

В 1953 году, после девятилетнего «исправления» в трудовых лагерях, меня – «контрика»-ветерана – неожиданно из Воркутинского особорежимного Речлага доставили в мою милую Винницу – совершенно бесплатно, без особой поспешности, в клетках на колесах, названных почему-то «столыпинскими» вагонами, через всю Европейскую часть СССР, по пересыльным пунктам, расположенным в Вологде, Москве, Харькове и Киеве. А там с «комфортом» поместили в четырехместную келью политического спецкорпуса тюрьмы и приступили к расследованию уже начатого «Дела о преступной деятельности по разложению партизанских отрядов в период Великой Отечественной войны».

В соседних камерах оказались Борис Фомин, Мирослав Чипиженко и Олег Поляков. Их я собственным левым глазом рассмотрел через щель в деревянном «наморднике» на окне в прогулочном дворике.

Узнал я их с большим трудом.

Был там и еще кто-то, о ком узнать не удалось. По теме бесед со следователем можно было догадаться, что в Виннице должен был приехать еще и Клавдий Цыганов. Чужался мне и особенного тембра голос Малика Мулича, о чем я писал в своих воспоминаниях, но я ошибался – его там не было.

Эту «нашу команду» чекисты начали разыскивать в лагерях ГУЛага Советского Союза и комплектовать еще с 1952-го, а может быть, даже с 1951 года.

Они не торопились – тогда еще было их время, и готовились к встрече с нами основательно, как к защите диссертации. Они намерены были провести громкий судебный процесс с нашим участием. Одновременно готовились они, должно быть, и к правительственным наградам. Намечали, конечно, места для новых звездочек на погонах. Там, в Виннице, как рассказывали очевидцы, работала до этого бригада из «специалистов» и костоломов очень высокого класса.

Но они просчитались – нужно было поторопиться. Готовились к встрече с нами еще при жизни Сталина, во времена Лаврентия Берии, а встретились мы, когда и для них пришла другая эпоха. И к тому времени основные организаторы – самые главные и амбициозные – оказались в Киевской внутренней тюрьме НКВД.

А от нас – зэков с довольно приличным тюремным стажем и огромной практикой – в добровольном порядке можно было добиться очень немногого.

Продержали меня в Винницкой тюрьме всю зиму, изредка для бесед в стиле разминки вызывая в следственный корпус. Потом в порядке очереди, постепенно, одного за другим, чтобы, не дай Бог, не встретились где-нибудь на пересылке, нас всех отправили по «своим

местам». Раньше всех исчез из камеры Фомин, еще через несколько дней – Поляков. Затем пришла и моя очередь.

И опять было неторопливое путешествие через Киев, потом – на этот раз почему-то через Ленинград, через Вологду, Инту...

На Киевской пересылке Борису Фомину удалось оставить словесный привет для тех, кто будет следовать за ним. Передал он, что его везут, должно быть, назад в Тайшет.

Олег Поляков только после 1980 года смог оказаться на Западе. Он сумел даже оставить след в истории НТС. Ему удалось выехать из СССР, благодаря жене – еврейке. Олег подтвердил свою репутацию хорошего журналиста; публиковался и в «Посеве», издал несколько книг под общим названием «Зеленые тетради» и свои лагерные мемуары.

Сейчас через Интернет мне удалось скачать большую часть трудов Полякова. В них я, во-первых, узнал много из того, чему по своим конспектам учили нас в 1942–1943 годах наши наставники, друзья Олега. Огромная заслуга Полякова в том, что он восстановил эти материалы, основательно их дополнил, сделав поправку на эпоху, и переиздал. Нужно учитывать при этом, что это совершил человек, который провел двенадцать лет в аду ГУЛага, в условиях, из которых далеко не всем удалось выйти просто живыми, а тем более в своем уме и добром здравии.

Во-вторых – не о своих приключениях в период оккупации и в сталинских застенках рассказал этот интересный человек (а написать он мог бы столько, что хватило бы на много-томный приключенческий роман). Он и тогда еще соблюдал «железный» закон конспирации. Рассказывать о себе он не стал потому, что этим мог навредить тем, кто еще оставался во власти большевиков.

*О Малике Муличе (а для меня это большой, сильный, неповоротливый, по-детски добрый и мудрый Малик, любитель стихов Есенина, Гуселева, Ахматовой) тоже нашлись сведения в мемуарных изданиях, особенно ценных у Р. Полчанинова. Пик деятельности Малика – должность профессора университета в Югославии. Мулича тоже уже нет в живых. Он ушел из жизни в ноябре 1980 года. Ему удалось все же не попасть в руки КГБ и мирно провести последние свои годы на родине.*

Его фотографию я разглядел недавно в старом журнале «За Россию» и попросил Амосова сканировать ее. Малик попал под объектив совсем молоденьким – он тогда еще был командиром у скаутов.

Осенью того памятного года оказалось, что в Виннице побывал и Евгений Романов – будущий Председатель Совета НТС. Об этом он позже рассказал в своей книге «В борьбе за Россию». Он похвалил подпольщиков за хорошо поставленную работу по конспирации и остроумную систему предупреждения об опасности при помощи перемещения цветов на окне конспиративной квартиры.

Однако Данилов с его командой никакого отношения к этой системе не имел. В его квартире не было не только цветов, но и подоконников. И сама система предупреждения там была намного изощреннее. Встречаться с незнакомым человеком, прибывшим в город на легковой машине в компании немецкого офицера, Ипполитыч, должно быть, и не решился бы. Цветами на окнах занимался Широбоков, вот его-то, вероятно, и посетил Романов в Виннице. Именно поэтому он не заметил даже саму новую организацию – НРП.

Из Винницы нам пришлось уезжать в конце января 1944 года. Опять условия эвакуации продиктовала кооперативная организация «Вукоопспилка». Отрываться от нее в тех условиях отец наш пока не решался.

Команда Данилова по частям сдвинулась с места несколькими днями раньше. У меня с «шефом» была договоренность о встрече во Львове через Игоря Белоусова. Адрес моего друга у нас уже был – мы получили от него письмо.

С Фоминым и Чипиженко мы встретились в дороге еще раз, на ночлеге в городе Проскурове (теперь – Хмельницкий). «Кадеты» попытались разыскать могилу Сергея Ивановича Бевада. Только дело это оказалось невыполнимым из-за снежных заносов. Пришлось довольствоваться поминанием его за общим столом. Но именно там мы убедились в том, что Сергей Иванович ушел из жизни сам по необходимости, соблюдая все тот же «железный» закон конспирации. Кто-то выдал его и переданные им листовки «Третьей силы» После чего неминуемо открылась бы связь казаков с НТС и НРП.

А Львов, хотя по календарю была еще зима – только начало февраля, встретил нас ярким весенним солнцем и зеленью на газонах. И мирной, цивилизованной жизнью. Местные кооператоры опять помогли разместиться всем эвакуированным во временном жилище, приняли в свои склады товары, за которые отвечал отец, а его самого окружили заботой и поддержкой.

Нам с коллегами по Организации очень быстро удалось собраться всем вместе при помощи Игоря Белоусова. Тот уже основательно освоился в городе, восстановился в институте, опередив меня в учебе на два курса. Учебный год к нашему приезду уже начался, мне и моим сестрам, чтобы ассимилироваться, пришлось опять начинать учебу с первого курса. А Игорь учился на третьем. Кроме того, ему удалось укомплектовать группу НТС – многочисленную, хотя и не постоянную – из военнопленных солдат-инвалидов в клинике института, находящихся там на лечении.

Данилов опять под каким-то «липовым» именем зарегистрировал фирму, будто бы эвакуированную из восточных областей, и собрал около себя команду. На одной из тихих улочек города с нейтральным названием Зеленая он снял помещение бывшей протезной мастерской. В целях конспирации, чтобы не обращать на себя внимание соседей, они так и оставили потертую вывеску прежних арендаторов и не только разместили, немного потеснившись, общежитие, но и выделили укромный угол для своей походной типографии.

Когда я разыскал их пристанище, там уже группировались люди из винницкой команды: Фомин, Чипиженко, Поляков, Мулич и Цыганов, – а кроме «киевского» Игоря Белоусова, появились новые для меня лица. Это были Сережа Яковлев, Елена Манохина и Сусанна (Феотистовна) Рушковская.

А с нашим приездом в этой компании, кроме меня с сестрой, еще добавился сосед по квартире и мой подопечный – Павел Иванов, сын профессора из Чернигова.

Настроение у всех было к тому времени не особенно радужное. Перед нами оказался очень скудный набор вариантов дальнейшей судьбы. Если нам не удастся каким-то чудом, незаметно не только для немцев и большевиков, но и для самих себя, как в сказке, оказаться по другую сторону фронта, то есть лишь два выхода: примкнуть к Власовской армии или искать себе место в нейтральных странах на правах эмигрантов.

Данилов рассказал нам, что еще за несколько недель до нашего приезда во Львов наши предшественники пытались договориться с партизанами украинских националистов. Те были «у себя дома», основательно разместились в лесах на склонах Карпатских гор и понемногу, для тренировки, повоевывали с немецкими гарнизонами. У них были и базы, и связи, и, самое главное – мощная поддержка населения.

Наши товарищи просили о встрече с руководителями их Организации в надежде на то, что удастся все же договориться о нейтралитете и об «аренде» места в глухомани Карпатских гор, чтобы создать там временный лагерь для пары десятков вооруженных партизан на время наступления советских войск. Встреча должна было состояться на условленном месте в городе Самбор. Однако из «хозяев» никто на нее не явился. Более того, в городе неизвестные хулиганы спровоцировали драку, основательно поколотили и ограбили наших послов.

Хорошо еще, что они не взяли с собой оружие...

Обращаться за помощью к немцам большинство из нас считало не только неэтичным, но и очень опасным – ведь те обязательно проверили бы нашу принадлежность к какой-либо организации. Для них не составило бы особенной сложности найти наши листовки с призывами «Бей фашиста и коммуниста!».

Оставалось надеяться, что оккупанты (а среди них – и нам это было известно – в предчувствии полного поражения уже набирала мощь прослойка противников политики Гитлера) не будут особенно принципиальными и не станут вникать в наши внутренние дела, которые их особенно и не касались.

Но где искать представителей такой «прослойки»?

В системе «Abwehr» создалась и с каждым днем усиливалась очень неблагоприятная для немцев обстановка. С одной стороны, командования требовало отправлять в советский тыл все новые и новые группы разведчиков – диверсантов; основательно готовить их времени уже не было, потому пользовались они самой сокращенной программой. С другой стороны, желающих принять участие в такой авантюрной командировке даже среди военнопленных становилось все меньше.

Данилову каким-то образом удалось выйти на кого-то из довольно высоких чинов немецкой разведки. Не называя свою политическую ориентацию, он получил согласие на то, чтобы – без всяких обязательств с нашей стороны – переправить две группы по двенадцать человек в глубокий тыл Советской армии.

Это был для нас оптимальный вариант.

Тем не менее, мы колебались, раздумывая над тем, а имеем ли мы моральное право идти на сговор со спецслужбами одного из злейших врагов своей Родины, пусть даже с благими намерениями.

Однако другого выхода у нас не было.

Кроме того, мы ни при каких обстоятельствах не собирались идти на службу к врагу или оказывать ему какую-либо помощь. Наоборот, пытались использовать его возможности для достижения своих промежуточных целей.

И мы решились.

По сигналу нашего «шефа» готовы были выехать к месту своей новой дислокации и уйти в самостоятельную, полную смертельной опасности авантюру, навсегда оставив своих родных и близких.

Тяжелее всех на душе было, пожалуй, у Елены Манохиной. Она оставляла во Львове, на чужой квартире своих родителей, очень пожилых людей: отца – профессора палеонтологии и маму – научного работника. Людей совсем не приспособленных к жизни, тем более в экстремальных условиях.

*Профессор Георгий Васильевич Манохин был до этого директором музея в Бердянске. Лена вместе с родителями успела побывать в командировке в Берлине. Они возвращались домой, но дальше Львова дорога была закрыта, и доехать им так и не пришлось.*

*История их злоключений началась еще летом 1940 года. Тогда профессор с помощью своих учеников в песчаном карьере на берегу Азовского моря отрыл, на беду свою и своего семейства, почти полностью сохранившийся скелет мамонта. До войны кости удалось перевезти во двор музея. Предстояла еще большая работа по их классификации и сборке скелета. Профессор был счастлив и радовался, как маленький ребенок.*

*Но румыны, оккупировавшие юг Украины, – верные союзники немцев в войне – не придали особенного значения ценности и уникальности находки. В удобном расположенном дворе музея, примыкающего к откосу горы, они устроили стрельбище для солдат. А в качестве мишеней использовали позвонки древнего ископаемого.*

*Профессор пытался доказать дикость затей, обращался к высоким чинам, просил, умолял, взывал к гражданской совести, но без всякого результата. Тогда он обратился за помощью к представителям немецкого командования. Тем это польстило. Они отнеслись с большим вниманием к находке, с уважением – к профессору и поставили своего часового. Союзники долго спорили в кабинете директора музея.*

*Потом немцы подогнали грузовые машины, солдаты аккуратно погрузили не только кости, но и все музейные ценности, и предложили профессору с семьей занять место в кабинах для сопровождения исторического достояния в Берлин. Манохиным очень не хотелось оставлять обжитые места, удобную квартиру, однако пришлось согласиться – оставаться уже было опасно. Румыны не простили бы ни ему, ни его семье их конфликт с «союзниками».*

*В Берлине все богатства сгрузили в какой-то ангар, с помощью профессора на каждый экспонат и на каждую кость повесили бирку, записали в реестр и заперли металлические двери на огромный замок. Манохина тепло благодарили какие-то важные чины Имперской канцелярии, сфотографировали его для газеты, даже сняли о нем и о его находке небольшой кинофильм. А потом выдали продуктовые карточки, предоставили небольшую и очень неудобную квартиру в каком-то пригороде столицы и оставили одних в чужой стране, без работы и без всяких знакомств... Но главное – без средств к существованию.*

*Им пришлось бы очень трудно, если бы не встреча с русскими эмигрантами, которых много понаехало из Югославии. Елена за несколько месяцев научилась сносно объясняться по-немецки. А еще стала активным членом НТС.*

*Семейство решило, пока не поздно, все же возвращаться на Родину. Однако сборы затянулись, и они смогли доехать только до Львова. А там, в медицинском институте, Лена встретила с Игорем. Мы приняли ее в свое товарищество с «основным именем» Слоненок.*

Игорю тоже пришлось оставлять своих добровольных опекунов – двух бездетных милых стариков, которые приютили его в чужом для него городе, полюбили и привыкли считать своим, Богом данным, сыном.

Часть оборудования своей переносной типографии, заготовленной литературы и запас бумаги мы оставляли в тайниках для ребят, с которыми расставались.

Данилов во Львове успел жениться. Он соединил свою судьбу с Сусанной Рушковской из Новочеркасска. И готовился к отправке на Восток «всей семьей».

За нами из разведшколы, разместившейся в городе Жешув (немцы называли его Райзгоф), приехал пожилой фельдфебель на мощной грузовой автомашине с брезентовым тентом.

Нас тогда было одиннадцать: молодая чета Даниловых, Леночка Манохина, Борис Фомин, Мирослав Чипиженко, Олег Поляков, Клавдий Цыганов, Игорь Белоусов, Сергей Яковлев, Павлик Иванов и я.

Малика Мулича Данилов снабдил липовыми документами и выпроводил в Дабендорф – офицерскую школу РОА. Он решил, что не имеет никакого морального права вести на очень опасное дело иностранца, который и так очень много сделал для Организации и России.

Немецкое руководство школы приняло нас хорошо. Встретили приветливо, очень довольны были пополнением, особенно тем, что с нами были женщины, мило нам улыбались и обещали, что все будет отлично.

Но уже при размещении возникли первые разногласия. Руководство школы не выполняло первое условие нашей с ними договоренности: нас поселили не в месте, отделив Данилова с женщинами.

На другой день выяснилось, что отправлять женщин им вообще «неудобно»: «не принято по инструкциям». «Временно» оставить при школе они хотели и Данилова, а взамен намеревались отправить с нами радиста и двух своих разведчиков.

Затем попросили всех заполнить пространные анкеты и предъявить свои документы. Мы, вполне естественно, не могли выполнить их просьбу потому, что записаться намеревались по вымышленным фамилиям, и документов на них у нас не было. Нас оставили «отдыхать» отдельно от женщин; Ипполитыча на другой день мы видели только изредка и разговаривали с ним в присутствии посторонних.

Лишь на четвертые сутки, когда еще не совсем рассвело, Данилов неожиданно разбудил нас, наказав срочно и без шума собраться в дорогу. Через час под тентом кузова грузовой машины мы уже мчались по шоссе в неизвестном направлении.

В пути выяснили, что и эту организацию не миновал спор, порожденный конкуренцией силовых ведомств Германии – разведки (абвер) и тайной полиции (гестапо). Существовавшие разногласия между полковником – начальником школы и его заместителем – капитаном сказались на отношении к нам. Спор зашел так далеко, что капитан, в обязанность которого входила связь школы с местным отделением Гестапо, пообещал утром пригласить их представителей прямо в школу.

Полковник перехитрил своего помощника. Пока тот еще спал, он отправил нас в Краков, в «обыкновенный» рабочий лагерь. Для нас это было конечно лучше, чем оказаться в Гестапо.

Данилов сказал еще, что за свою относительную свободу мы должны благодарить наших женщин, повлиявших на шефа тонкой дипломатией, причем «не без кокетства». Без них бы мы в тот же день наверняка оказались в застенках тайной полиции. И при обыске в наших рюкзаках нашли бы не только листовки, еще и кое-какое оружие с набором фальшивых документов...

Нас привезли в расположенный недалеко от Кракова лагерь с мистическим названием «Могила» и передали администрации строительства военного аэродрома. Руководитель строительства, а заодно и лагеря, тоже полковник, был другом и, кажется, даже каким-то родственником «нашего полковника», начальника разведшколы, который (к его чести следует заметить) попросил для нас в письме о некоторых льготах и дополнительных правах. Например, нам разрешалось в нерабочее время выходить из рабочей зоны, гулять по окрестностям, посещать деревню с тем же названием Могила. А Данилову с супругой вообще разрешили поселиться в Кракове и посещать нас так часто, как только он пожелает. С ними ушли и Олег Поляков с Клавдием Цыгановым. Они направились на север к своим друзьям, как выяснилось позже, в расположение отряда Хомутова.

Начальник лагеря был, как нам показалось, вполне доволен пополнением, в частности тем, что среди нас оказались люди с медицинской подготовкой. Игорю и Елене он поручил, выделив им в помощь солдата, срочно организовать медицинский пункт на производстве и постоянное дежурство.

Доволен начальник был и тем, что многие из нас могли хоть как-то изъясняться по-немецки. Но более всего он радовался, что среди нас оказались квалифицированные электрики. Всех нас, кроме наших медиков, определили в категорию рабочих, для которых не требовалась охрана.

Нас расселили в домиках из прессованного картона, по четыре человека в каждом. Кормили из одной кухни со всеми прочими, немного увеличив по сравнению с ними только порцию хлеба. Давали еще черный эрзац-кофе из общего бачка, без всякого лимита.

Основные, особо тяжелые и опасные работы, на стройке выполняли бригады, состоящие из военнопленных (лагерь их был тут же, при стройке), евреев (которых привозили из городского гетто) и заключенных концлагеря.

Уже через день мы познакомились с бригадой из четырех пожилых русских эмигрантов из Югославии. Руководил ими маленький подвижный человечек, возраст которого невозможно было определить, по фамилии Наумов. До лагеря он был тренером по спортивной гимнастике очень высокой квалификации, знаменитостью в своих кругах далеко за пределами страны, ставшей ему второй родиной.

Наши новые знакомые оказались самостоятельным звеном организации НТС и приехали сюда для того, чтобы быть поближе к Родине и принести посильную пользу общему делу. Занимались они в основном воспитанием военнопленных в духе солидаризма, заодно помогая им продуктами, одеждой. Помогали, как могли, и в организации побегов своих подопечных из лагеря.

Когда эти четверо познакомились с литературой нашей НРП, они не задумываясь и с радостью приняли наше «вероисповедание». И тотчас передали несколько экземпляров листовок военнопленным, вызвав восторг и у них.

Мы сразу очень подружились с этими простыми и мудрыми людьми. Для нас эта дружба стала очень своевременной поддержкой в тот нелегкий период подневольной жизни. Поскольку время шло, и мы уже начали терять надежду на благоприятный исход нашего начинания. Мы не зависели от самих себя и были связаны условиями дисциплины, как лагерной, так и партийной.

А потом наступил и такой час, когда нам стало и совсем плохо.

Вдруг без всякого предупреждения уехали из лагеря Фомин, Чипиженко. Они не оставили нам записки, не передали через кого-нибудь привет... Они просто сбежали, когда мы были на работе!

Не хотелось верить в то, что наши друзья могли поступить подобным образом. Так можно было и совсем в них разочароваться.

Наумову с трудом удалось нас немного успокоить: в жизни, говорил он, так иногда случается, тем более в таких играх, какими занимались все мы. Они, должно быть, не виноваты в том, что отъезд их оказался таким поспешным.

И действительно, Данилов объяснил нам потом, что ребят срочно вызвали по сигналу Полякова из северного региона.

А еще позже, спустя целых пятьдесят лет, из книги «НТС – мысль и дело», с дополнительными перепроверками и консультациями мне удалось узнать, что наши друзья – именно эти ребята, только без Олега Полякова – в составе группы Хомутова в июне 1944 года с оружием в руках удачно перешли линию фронта. А спустя два месяца окружены подразделением контрразведки. Хомутов тогда погиб, остальные были задержаны. В книге названы фамилии Цыганова и Фомина. Даже без имен.

Но, поскольку они были все вместе, сейчас есть возможность назвать и других. С Борисом Фоминым (его отчество Александрович) от нас тогда уехал Мирослав Чипиженко, а раньше, с Клавдием Цыганковым, и Олег Поляков.

Однако Поляков, хоть он и был в отряде, о чем свидетельствует снимок на фоне той же декорации, что и у Цыганова, отправился на юг на розыски своих друзей – казаков.

Моя уверенность, что речь идет именно об этих людях, подтверждается косвенно еще и тем, что все они (кроме, конечно, самого Хомутова) оказались в Винницкой тюрьме в 1953 году.

Об Олеге Полякове и его судьбе была статья в «ЗР» № 54 за 2010 год к 20-летию его смерти. О других ребятах той героической команды – Борисе Фомине, Мирославе Чипиженко – известно меньше. Не удалось достать и их фотографии. Снимки были у их товарища по кадетскому корпусу – Владимира Китайскова, но тот передал их в музей Новочеркасского кадетского корпуса.

*Борис Александрович Фомин, 1922 года рождения, выпускник кадетского корпуса (Белая церковь в Югославии), студент-архитектор. Осужден после задержания на 10 лет исправительно-трудовых работ (ИТР). Во время пребывания в Винницкой тюрьме следователи усиленно старались между ним и мной вбить клин и натравить меня на Бориса из-за разницы в сроке. После освобождения из лагеря в 1956 году Фомин поселился в Свердловске, женился, закончил институт и работал инженером на стройке. Умер в 1988 году.*

*Мирослав Чипиженко после освобождения в том же 1956 году тоже уехал в Донецк на Донбассе, тоже закончил образование, женился имел двоих детей. Китайсков заезжал к нему в гости по дороге в Новочеркасск около 1998 года. Мирослав был еще жив и здоров.*

*Клавдий Цыганов поселился после освобождения в Твери. Также завершил образование. Дальнейшая судьба его неизвестна.*

Лето в «Могиле» незаметно перешло в раннюю осень, а наша судьба все еще оставалась неопределенной. Потом и Елене Манохиной пришлось поспешно убираться из лагеря. Нам всем было искренне жаль расставаться с хорошим другом, но я лично, как ответственный за группу, был одновременно и рад этому, потому что ее пребывание среди нас в той среде становилось все более опасным. И не только для нее, но и для нас, ее вынужденных защитников. Елену вежливо выпроводил, несмотря на то что относился к ней с неприкрытой симпатией, полковник – начальник лагеря. Поводом послужил конфликт с начальником режима: Елена, отстаивая права медицинского работника, потребовала допустить ее к изувеченной на стройке еврейке из гетто. А начальник режима на глазах у десятков невольных свидетелей просто пристрелил покаленную – «чтобы не мучилась». Полковник поступил тогда мудро: ведь наглый фельдфебель не простил бы Елене оскорбительных слов в его адрес и обязательно нашел бы возможность для мести.

А уже в конце сентября Елена в переполненном краковском трамвае попала под облаву. Немцы тогда отбирали заложников в отместку за террористический акт, проведенный группой польской Армии краевой. Все могло закончиться для девушки трагически, но, на свое счастье, в толпе она увидела двух офицеров с нашивками «РОА» на рукавах. С большим трудом она протолкалась к ним и попросила помощи. Симпатичная девушка и ее русская речь привлекли их внимание, и они вывели Елену из оцепления.

Познакомились. Старший из них, полковник Ясинский, офицер из штаба Власова, находился в командировке. Его сопровождал молоденький лейтенант. В скверике на скамейке, в нарушение всех норм железной конспирации Елена открыто рассказала новым знакомым о себе, о нас, и о крушении наших надежд, и о бедственном нашем положении в лагере...

Полковник отложил на день свой отъезд в Берлин и занялся устройством нашей судьбы. Познакомившись с Даниловым, он свел его со своим другом – начальником еще одного пункта, «Зондерштаб-Р», для переговоров с которым, кстати, и приезжал в Краков. С помощью Ясинского Данилову удалось договориться о тех именно условиях помощи, с которыми мы так прокололись в городе Жешув.

А через неделю и нас выгребли из опостылевшей «могилы». Поселили в большой благоустроенной квартире в пригороде Кракова и организовали ускоренную подготовку для реализации нашего плана – заброски в глубокий тыл на советскую территорию.

Потом еще целый месяц мы провели в полевом лагере, приобретая навыки обращения с различного вида оружием, обучаясь стрельбе, методам самозащиты и ориентированию на местности. Все это происходило в деревушке Егендорф в Верхней Силезии.

Мне уж очень не везло тогда и мало пришлось участвовать в подготовке. Все время, проведенное нами в Германии, как назло, мое тело терзали болезни и недомогания. Две недели пришлось проваляться и в немецком тыловом военном госпитале. Было даже мнение меня отбраковать и отстранить от отправки с первой группой по состоянию здоровья. Только это никак не входило в мои планы, и я, при поддержке товарищей, настоял на своем.

К тому времени к нам пришло пополнение – восемь человек из лагеря военнопленных. По поручению полковника Ясинского их помогли для нас отобрать агитаторы из штаба РОА. Народ был самый разнообразный, как по возрасту – от девятнадцати лет и аж до сорока с хвостиком, – так и по личным характеристикам. Были там и кадровые военные, и люди с рабочей хваткой, были даже два бывших жулика, успевших посидеть в советских тюрьмах.

Но общим оказалось хорошее, бодрое настроение. Мы поняли друг друга и довольно быстро сошлись характерами. К тому же, что было самым главным условием, наша политическая программа всех их вполне устраивала.

А потом неожиданно Данилов привел еще одного человека, по нашему мнению, совсем не подходящего для подобных авантур. Звали его Михаил Михайлович Замятин. Он был из эмиграции первой волны. Далеко за сорок лет, маленького роста, тщедушного телосложения, набожный. И какой-то уж очень штатский. Оружия он никогда в руках не держал и на этот раз принял автомат с явной неохотой и даже какой-то брезгливостью.

При нашем знакомстве он признался мне доверительно, с обреченностью в голосе, что готов лететь даже ради того, чтобы просто умереть на Родине, если уж не сможет принести больше пользы. Мне очень не понравилась такая обреченность, умирать никто из нас еще не собирался, и я попытался опротестовать включение в состав группы нового товарища. Однако Ипполитыч, который всегда уважал мое мнение, на этот раз был непреклонен.

– Нет! – сказал он. – Замятин обузой вам не будет. У него свои задачи.

Больше других из этого пополнения мне понравился бывший сержант Красной армии Александр Никулин. Он был кадровым военным, родом из городка Грязи Воронежской области. Мы с ним быстро подружились, и эта наша дружба пришлась как нельзя более кстати.

Хотя в нашей команде было два человека с армейским званием старшины, но именно сержант Никулин по моему настоянию был назначен командиром. А мне предназначалась роль политического и стратегического руководителя. Конечно, временно, только до того момента, когда к нам присоединится основной отряд с Даниловым.

По просьбе Александра Ипполитовича начальник школы попытался доукомплектовать нашу группу, освободив нескольких членов НТС, которые томились в гестапо города Катовицы. Но, как и следовало ожидать, попытка оказалась безуспешной – по причине конкуренции между собой силовых служб.

А их вражда особенно обострилась во второй половине 1944 года, после попытки государственного переворота и покушения на Гитлера.

По мнению нашего гауптмана, отряд с большой натяжкой был готов к отправке только в середине ноября 1944 года. К тому времени мы уже возвратились в Краков и нарядились в форму желто-зеленого цвета, теплую и довольно удобную, из мягкого, плотного сукна. Эта экипировка из военных трофеев оккупантов принадлежала, должно быть, армии какого-то небольшого европейского государства, «побежденного» немцами. Нужно отдать справедливость бывшим руководителям того государства: судя по одежде для солдат, они неплохо относились к своей армии.

Наши девушки из лоскутков, подобранных в каком-то магазинчике Кракова, соорудили трехцветные шевроны на рукава наших мундиров и подобие кокард на пилотки. И, загадочные для окружающих, но гордые, мы с удовольствием щеголяли в них, гуляя по городу. У каждого из нас в шкафу уже лежали пакеты с «настоящей, слегка потрепанной армейской одеждой, приготовленной для отправки.

А Данилов, как и мы все, понимали прекрасно, что время уже работает против нас, что прекрасная осенняя погода в Кракове ни в какое сравнение не идет с метеоусловиями, которые нас ожидали в средней полосе России. Но нужно было терпеть и ждать. И не только потому, что мы полностью зависели от воли немецкого руководителя, но еще и потому, что на складах школы не хватало самого необходимого.

Шеф сообщил, что специально для нас заказал настоящие русские валенки и полушубки. Пускай не новые, поношенные, но все же в них было бы надежнее в русскую зиму... Однако заказ сделан, а зимней одежды на складах нет, как не было у них уже даже русского оружия, автоматов типа ППШ или ППД, которыми в ту пору были вооружены части Красной армии. Винтовки же нас совсем не устраивали.

Почти перед самым отлетом привезли наконец деньги – два миллиона рублей. Нас уверяли в том, что «дома» на эти деньги сможем приобрести все, что нам было нужно.

Тюки с валютой свалили, не распаковывая и не пересчитывая, в шкаф с одеждой.

Наконец появились и автоматы. Дали нам еще два пистолета типа «Вальтер», два русских нагана, ручной пулемет Дегтярева и несколько десятков гранат.

Печальнее всего, конечно, было то, что приходилось отправляться в русскую морозную зиму в шинелях, ватных телогрейках, таких же брюках да еще, самое страшное, в немецких кованых сапогах. Мы понимали, что эта обувь не только не по сезону, но еще и будет оставлять на снегу специфические следы.

Однако откладывать вылет мы уже не могли – это было совсем не в наших интересах.

Ждало нас и еще одно разочарование. Начальник школы обещал организовать для нас учебный полет с высадкой на парашютах. Сделать это ему так и не удалось, и мы вынуждены были лететь без всякой тренировки.

В график, согласованный с руководством транспортной авиации, мы вписались на 30 ноября. Вторая – основная – группа, с Даниловым и его женой, Сергеем Яковлевым и Еленой Манохиной, а также с еще восемью новыми членами команды, должна была лететь 12 декабря, после радиосообщения о нашем благополучном приземлении.

С ребятами из нового пополнения основной группы нас не знакомили по соображениям конспирации.

Александр Ипполитович в те дни по каким-то своим каналам получил обнадеживающее сообщение, что леса на границе Брянской, Орловской и Черниговской областей полны «зеленых» – дезертиров и партизан, не пожелавших подчиняться советским порядкам. Они вооружены и воинственно настроены. А у нас еще были свежи воспоминания о настроях подпольщиков в Виннице, и сомневаться в полученной информации не было оснований.

И вот настал последний день перед отлетом.

Вечером мы заменили в бумажниках свои документы, и пришлось заново знакомиться друг с другом. Мы с сожалением расставались со своим прошлым, выкладывая Данилову все свои «зачапки»: самые дорогие письма, записки, памятные сувениры, фотографии родных и близких.

На аэродроме Данилов сообщил, что по согласованию с кем-то «там» – он поднял палец вверх – мне присвоена высокая степень Члена-инструктора НТС. Вот и вся моя карьера!

Летели мы на самолете В-29 – трофейной американской «летающей крепости». Нас, ставших вдруг более серьезными и отрешенными перед лицом перемен, усадили вдоль фюзеляжа, друг за дружкой, в неудобной позе, с вытянутыми ногами, на полах шинели впереди сидящего товарища.

В ту ночь нас постигла неудача. Мы дважды пролетели над фронтом, но оба раза были ярко освещены прожекторами и обстреляны зенитной батареей... А часов через десять, измученные и разочарованные, вернулись обратно на «родной» краковский аэродром. Над местом высадки в ту ночь бушевал циклон. Погода оказалась совершенно неблагоприятной для десанта, и командир самолета не взял на себя ответственность по высадке.

В период тревожного ожидания следующего вылета нам с Сашей Никулиным во время прогулки по городу удалось познакомиться с очень интересным человеком. Тот был в форме какой-то рабочей команды и даже с нашивкой, подтверждающей принадлежность к младшему командному составу. Он считал себя русским, с примесью украинских и финских кровей. От отца достались ему финские фамилия и имя – Арнольд Пехконен. По возрасту – на несколько лет старше нас.

Встреча земляков в чужом краю предопределяла откровенный обмен мнениями о нашей общей непростой судьбе. Он сразу же с радостью принял наше «вероисповедание», наполнил

карманы листовками, а уже на следующем свидании обрадовал нас, сказав, что и он сам, и еще несколько его товарищей готовы последовать за нами на Восток.

Мы познакомили Арнольда с Еленой, а потом и с Александром Ипполитовичем. А нам самим общаться с новыми товарищами уже было нельзя – мы и так нарушали правила конспирации. Данилов перед самым нашим отлетом сказал, что возлагает на эту группу большие надежды.

Вторая попытка десантирования назначена была на второй «наш» календарный день – 12 декабря. Мы выбились из графика, и отправка второй, основной, группы отодвигалась в неопределенность. Аэропорт был перегружен, фронт приближался, а запасной аэродром в районе Кракова – в «Могилах» – так и не был подготовлен.

С Даниловым я виделся тогда в последний раз. И ничего не знал о нем до 2003 года. Уже после «бархатной революции» 1991-го и встречи с родственниками из Зарубежья я пытался использовать любую возможность, чтобы разыскать Данилова или хотя бы узнать о его судьбе. Мне очень хотелось «доложить» ему и о судьбе нашего отряда, и о причинах неудачи при высадке, хотя это все имело уже только познавательное значение.

Получить информацию о нем мне удалось только после заочного знакомства с Юрием Константиновичем Амосовым, в 2004 году. Оказалось, что Амосов тоже лично знал Данилова, но значительно позже меня. Более подробные сведения нашлись и в книге Е. Романова «В борьбе за Россию». Будущий Председатель Совета НТС встречал Данилова после войны в лагере для перемещенных лиц в городе Менгоф. Он характеризовал его как крупного специалиста по изготовлению фальшивых документов. Именно эта его способность, когда шла сортировка и репатриация после войны, дала возможность спасти от большевиков много людей.

Данилов прибыл в лагерь с женой Сусанной (позже ее называли Светланой). Амосову удалось даже разыскать групповую фотографию, на которой есть и лицо Сусанны, немного «повзрослевшее», но такое же озорное удалось. Нам увеличить ее снимок и привести его здесь.

Однако для Организации Данилов играл гораздо более важную роль, чем та которую описал Романов. Это отчасти можно объяснить правилами конспирации, тем более что Данилов всегда был деятелем с особым уровнем секретности. Сейчас можно сказать: роль Александра Ипполитовича на Украине в годы оккупации трудно переоценить.

О нем подробно я рассказал в своей статье (опубликованной в № 54 газеты «ЗР») к 100-летию со дня его рождения и повторяться считаю излишним.

А его детище – организация-невидимка НРП, след которой остался и в душах тех, кто прошел через нее, и в архивах КГБ, – было поистине чудесным изобретением. Подтверждением тому может служить попытка процесса о «Разложении Винницкого подполья», затеянного чекистами в 1952 году.

Для меня все же загадкой осталась сама возможность установления такой высоты планки уровня конспирации, для поддержания которой добровольно уходили из жизни такие, как Сергей Бевад. И из-за которой в истории Организации и даже в памяти отдельных работников руководящего звена НТС не осталось и следа от славного имени «НРП», организации-сателлита, тогда как с понятием «Третья сила», этим дополнением к названию НРП, знакомы были многие. Хотя и из активных ее деятелей удалось и выжить некоторым. Они названы в числе членов самой Организации в более поздние периоды. Это и Олег Поляков, и Малик Мулич, все члены группы, которая вышла на Запад вместе с Даниловыми – Александром и Сусанной.

После нашего ухода была отправлена за линию фронта где-то в районе Чехословакии еще одна группа. В ней вместе с Сергеем Яковлевым, Николаем Угрюмовым и двумя братьями Соловьевыми ушла и Елена Манохина. В столкновении с контрразведкой они погибли... Живой осталась только Елена Манохина. Ее приговорили к высшей мере наказания, потом заменили эту меру 25 годами заключения. Отбывала срок она в Норильске вместе со Светла-

ной Васнецовой (Томилиной). Там за полярным кругом родила дочку. Освободилась, как мы все, в 1956 году и уехала на Украину к сестре. Куда – неизвестно.

Однако в декабре 1944 года мы еще только грузились в самолет – трофейную модель американской «летающей крепости». И вот в очень неудобных позах, в единой цепочке, удерживая ноги впереди сидящего товарища, под усиленной охраной СС-воинов с обеих сторон (немцы были очень бдительны и нам явно не доверяли) мы на неистово гудящем чудовище опять мчимся в ночную неизвестность.

На этот раз благополучно перевалили через линию фронта, в ярком свете прожекторов, будто спотыкаясь между вспышек разрывов снарядов. На душе было тревожно. Больше всего от того, что наши автоматические парашюты не были готовы к действию на случай прямого попадания снаряда. Эти устройства (так называемые «соски») нужно было короткими поводками пристегнуть к тросу над нашими головами. А без такого соединения мы превратились бы при аварии в беспомощных кукол.

Наконец нас выбросили в слепую, ветреную ночь почти на головы солдат контрразведки, МВД и «добровольцев» местной общественности, которыми был полон лес. Как оказалось, они уже заждались в этих трех занесенных снегом районах Брянщины – прошло две недели со времени нашего первого неудачного полета.

Но мы этого не знали. Мы надеялись, что приземлимся в глубоком тылу. И что в этой глубинке наша группа окажется самым мощным вооруженным отрядом.

При высоте полета более километра и очень сильном ветре нас разбросало на большие расстояния. За целый день поисков после приземления мне удалось найти в лесу только двух человек из нашей команды – самых молодых и неопытных. И мы уже втроем весь день 13 декабря по глубокому снегу пробродили в безуспешных поисках командира и других членов группы.

Во второй половине дня на наш след пристроился вооруженный отряд в количестве более двадцати человек. Это не были солдаты, как мы определили издали по их разномастной одежде и сборному вооружению, и это вселяло в нас надежду. Но кто же они такие? Партизаны? «Зеленые»?

Мы уже смертельно устали. Погода менялась. Ветер утих, и мороз крепчал с каждым часом. Шипы на сапогах продолжали оставлять в снегу глубокий типичный след. И преследовать нас мог любой школьник. Встреча с преследователями была неминуемой. Оставался один выход: увеличив скорость, оторваться от преследователей, в удобном месте свернуть с дороги и на параллельном курсе скрытно вернуться на несколько сот метров назад. Тогда, оставаясь незамеченными, мы смогли бы наконец рассмотреть своих потенциальных противников.

Несмотря на усталость, мы так и сделали. Позицию выбрали очень удобную и притаились, надежно укрытые стволом сваленного дерева. Смогли даже немного отдышаться, дожидаясь, пока отряд преследователей вышел на поворот дороги метрах в десяти от нас. Они тоже запыхались, были открыты и совсем не готовы к встрече. Больше минуты, которая проскочила, как одно мгновение, мы оставались в очень удобной для нас позиции. И бездарно потратили эту драгоценную минуту лишь для того, чтобы рассмотреть своих преследователей...

Рассмотрели...

Остались очень довольны!

Главное, на головных уборах у них звездочек не было! На некоторых старенькие полушубки, большинство же – просто в ватных телогрейках, часть – даже в стареньких пальто... Вооружение тоже самое разномастное. Совсем как партизаны 1812 года! Сомнения наши были рассеяны. Это именно те, кого мы и искали: братья – «зеленые»! Даже лицо их командира, пожилого, с седой бородой, показалось мне очень знакомым. Только потом я догадался: знакомым оно было по моим сновидениям со времени кошмаров Бабьего Яра!

Я поднялся во весь рост, показав жестом своим товарищам, чтобы они все же оставались в укрытии и были готовы к бою. Однако мои послушные бойцы тоже поднялись вслед за мной!

Внезапное наше появление повергло «зеленых» в шок! Но минутной паникой в рядах на дороге мы тоже не воспользовались, выигрыш в стратегии был бездарно упущен. Мы были совершенно спокойны и даже смешливы. И могли себе это позволить в награду за умный тактический ход!

Они же, окружая нас тесным кольцом, глядели глазами, белыми от ужаса. Вязали нам руки непослушными, дрожащими пальцами. Мы оставались спокойными, хоть и со связанными за спиной руками. Они – перепуганы – и нас уже конвоировали. Дорога в деревню, куда нас привели, показалась необычайно длинной, шли очень медленно. Они устали. Мы едва держались на ногах.

В большой деревенской избе, с прокопченными стенами и потолком, обогревавшейся «по-черному» – без трубы, на старой истлевшей соломе лежали со связанными руками почти все наши товарищи. Не было там только командира (он был уже «в работе» – на допросе у полковника НКВД), а еще Игоря Белоусова и Михаила Михайловича Замятина – они еще оставались в бегах.

Нас троих, вновь прибывших, усадили отдельно и добавили к нам еще двоих наших. Мы, как оказалось, были «собственностью» НКВД, остальные – «принадлежали» ведомству контрразведки СМЕРШ.

В избу то и дело врываются, заглядывали в окна местные крестьяне, женщины и дети, чтобы поглазеть на пойманных «шпиёнов» и позубоскалить.

Меня быстро вычислили как основного виновника, подняли на ноги и повели в здание с вывеской «Сельский совет». Полковник НКВД, должно быть, поставил перед собой цель первым, здесь же, в лесу, по свежим следам выбить из нас интересующие их сведения. Не получив ничего ценного ни от кого из допрошенных, со мной он уже не разговаривал по-человечьи, а рычал зверем:

– Явки! Пароли! Связи! Радиокод!

Он представить себе не мог, что ни у кого в отряде не было этих данных. Радист не пожелал делиться с ним своим секретом, командир ничего не знал. И я был последним, из кого эту информацию ему нужно было выбить.

Появились еще и помощники – двое молоденьких, спортивного вида офицеров. Из тех, которые умели «выбивать». Они очень торопились в ожидании начальства. И через час, который показался мне вечностью, в избу притащили уже мое тело, окровавленное и наполненное болью. Кроме того, по дороге или в походном кабинете полковника меня основательно ограбили – вытащили из карманов все. Деньги, авторучку, пистолет. Сняли часы, ремень, заменили сапоги, шинель и даже шапку.

Потом нас везли в кузове машины со связанными руками, местами от мороза прикрытыми какими-то вонючими тряпками... Мороз, как говорили солдаты, уже зашкалил за двадцать градусов.

Ночевали в новом корпусе брянской тюрьмы, с замороженными насквозь стенами – отопление еще не было смонтировано. Потом еще ночь – в казарме солдат контрразведки со связанными за спиной руками.

Конвоиры тогда говорили, что о праве «владеть» нами никак не могут договориться контрразведка и «краснопогонники». Общение с нами сулило награды, повышения по службе. Наша судьба решалась в Москве: куда нас везти – на Лубянку или в Воронеж, где располагался Смерш Орловского военного округа?

Победил генерал Попов – начальник контрразведки. Из Москвы пришла депеша именно на его имя... И нас по акту передали новому хозяину.

И опять на транспортном самолете, гуськом, сидя на ногах у переднего товарища, мы летели на новое место жительства в город Воронеж. Перед самым вылетом забросили в самолет еще двоих – Игоря Белоусова и Михаила Михайловича Замятина. Я еще не успел прийти в себя после первого знакомства с чекистами, но был более бодр и здоров, чем эти наши товарищи, помороженные и полуживые. Место в кабине летчиков занял сам генерал-майор, и самолет взмыл в небо.

По дороге с военного аэродрома в Воронеже, с борта мощного грузовика мы увидели то, что называлось городом. Воронеж лежал весь в руинах. Следовательно подтвердил: разрушено более 80% домов.

И только «Екатеринка» (так называли тюрьму местные жители, потому что она имела форму буквы «Е») осталась полностью сохранной, вплоть до последних вспомогательных строений. Ее, будто по договоренности, щадили при обстреле и немцы, и русские.

Там, в этой тюрьме, нам пришлось пробыть с 21 декабря 1944 года до марта 1946-го. Возили нас на допросы по вечерам, когда стемнеет, через весь город, в другой его конец, где занимал сравнительно целое здание штаб СМЕРШ. Возили на грузовых машинах, в любую погоду, уложив в кузове вниз лицом, со связанными за спиной руками.

Чаще всех в «работе» по ночам бывали мы трое: радист Аркадий Герасимович, Игорь Белоусов и я. Остальных доставляли в следственный корпус по два-три раза в неделю. Их «дела» – по совместительству, двух-трех человек сразу – вел один следователь. А у нас с Аркадием и Игорем были свои «персональные» сыски довольно высокого ранга.

Меня «обрабатывал» начальник следственного отдела майор Маракушев. Хотя только в первые дни нашего знакомства он был майором, в начале 1945 года стал подполковником, а вскоре, после Дня Победы, появился на службе уже с полковничьими погонами.

Но все же я обязан свидетельствовать: никаких «запрещенных по закону мер воздействия» Маракушев ко мне никогда не применял. Побил меня основательно во время следствия единственный раз совсем другой майор, временно подменивший Маракушева. А кроме побоев этот «временный» для полноты впечатлений вывозил меня на пустырь между разрушенными домами поиграть в имитацию расстрела.

Трудно их обвинить в нарушении закона – это и был их «закон». И во главу его были поставлены слова Горького: «Если враг не сдается – его уничтожают».

Со мной они обращались с чисто иезуитской выдумкой. В течение многих месяцев я провел почти без сна, имея возможность «отдохнуть» в камере только по воскресеньям потому лишь, что это ИХ выходной день. Я пытался спать прямо на ходу, в машине, лежа лицом вниз со связанными за спиной руками, сидя в самом неудобном положении, на допросе, пока следователь заполняет протокол. Однако месяцы без здорового сна, при постоянном нервном напряжении довели меня до состояния, близкого к психическому срыву. И «глюки» стали довольно частым моим развлечением.

Расчет у чекистов был и на подсадную утку – со специальным провокатором меня держали в одиночке более трех месяцев. И они могли себе это позволить, когда в Воронежской тюрьме сидело втрое – если не больше – людей, чем она могла вместить!

Маракушев иногда официально спрашивал, будто специально подчеркивая этим свои возможности по усилению давления, есть ли у меня претензии к ведению следствия. И мой ответ каждый раз аккуратно заносил в протокол допроса.

Претензии по поводу тюремных правил, которые запрещали спать днем, даже если кто-то «работал» ночью, нужно было направлять не к нему, а в администрацию тюрьмы.

Маракушеву вторил и прокурор, иногда посещавший следственные кабинеты.

А у меня со следователем складывались, мягко говоря, не совсем дружественные отношения. И, конечно, часть вины мне следует принять на себя. Дело в том, что почти пять меся-

цев я для него был Юрием Семеновичем Дашенко, жителем Чернигова. А еще – я врал. Много врал...

Только в мае 1945 года, после командировки в Киев, майор привез мои документы из медицинского института, и пришлось мне откликаться на свою настоящую фамилию. Создавалась путаница в тюремной картотеке, излишняя нервозность. Побывал Маракушев и во Львове. И с улыбкой передал мне привет от моих родителей.

Следователи тогда легко разделили нас на два противостоящих лагеря. Виновными во всем оказались только Михаил Михайлович, я, Игорь Белоусов да еще наш радист Аркадий Герасимович.

Аркадий сорвал радиоигру чекистов в поддавки с Даниловым: каким-то одному ему известным кодом он сообщил по радио в Краков о том, что работает под контролем. Этот же код содержал информацию, что нас уже нет в живых.

И теперь дорогому товарищу приходилось расплачиваться. Я видел, как Герасимовича несколько раз увозили из следственного корпуса в тюрьму «на ночлег» окровавленным, и грузить его в машину приходилось с помощью солдат.

Меня с Игорем очень редко возили одним рейсом. Если же так получалось, то укладывали в разные углы кузова. Мне никак не удавалось его увидеть поближе, переморгнуться и перекинуться парой слов. Но я чувствовал и знал по намекам следователя, что ему было очень тяжело.

Должно быть, у них не имелось в наличии достаточно стукачей, и они держали Игоря одного в камере. Он начал курить. А поэтому приходилось унижаться – выпрашивать табак у следователя или собирать окурки в коридоре. У него были поморожены ноги, большой палец на правой ноге начал чернеть... Срочно требовалась ампутация, а медицинская служба тюрьмы умела только бороться с вшами и клопами...

Повезло нам с Игорем встретиться только летом 1945 года. К этому времени он уже справился со своей бедой. Как выяснилось потом, он сам, в присутствии молоденькой медсестры, которая платочком закрывала носик от вони, скальпелем ампутировал себе фалангу большого пальца на ноге. И только после завершения операции сестричка привела его в сознание и неумело забинтовала. А потом несколько раз тайком приносила пенициллин и посыпала им рану, делая очередную перевязку.

Следователь Игоря, совсем молодой и очень смешливый капитан-еврейчик, решил проявить инициативу и в перечень статей нашего обвинения включить еще одну статью – «попытка террора». Для этого ему необходимо было провести с нами очную ставку. Дело в том, что в нашем имуществе, выброшенном отдельным парашютом, они нашли печать из латуни для пакетов со значком «Третья сила». Учитывая остроумие капитана – следователя Игоря, можно предположить, что беседа у них на тот час шла не вполне серьезная. И Игорь, утратив бдительность, высказал мысль, что печать эта, вполне возможно, предназначалась для того, чтобы штамповать лбы поверженным коммунистам. А поскольку я отрицал эту ахинею напрочь, капитан решил вывести нас на чистую воду.

Однако мы оба были так рады неожиданному свиданию, что повод для этого и присутствие самого капитана остались для нас уже только фоном. Слова относительно печати я расценил как недоказанный домысел. Капитан назвал меня уже довольно добродушно «чмо» и объяснил аббревиатуру: «чудишь, мудришь, обманываешь».

Мы с Игорем уже были в том состоянии, когда и палец казался нам смешным и забавным. И, не сговариваясь, мы расхохотались в ответ так, как бывало когда-то в «прежней» жизни. Следователь немного позлился, а потом, видимо, вспомнил, что сам нарушил этикет «следственного эксперимента» – не пригласил прокурора на очную ставку. Тогда он сам нехотя хохотнул и порвал заранее заготовленный протокол. И велел даже покормить нас солдатскими

щами из одного котелка, прежде чем отправить на «отдых». В одной машине мы сидели рядом и улыбались, на удивление конвоя.

И это была наша маленькая победа!

Ребята из числа военнопленных как-то сумели стовориться, чтобы показать на следствии, будто они еще в Кракове готовились, оказавшись на территории СССР, арестовать нас четверых и передать в руки представителей власти.

Саша Никулин к тому времени восстановил свою настоящую фамилию Попов и выглядел лучше всех нас. Однажды во время переезда в автомашине, когда шел проливной дождь и солдаты немного ослабили бдительность, он рассказал мне о заговоре в отряде и просил прощения от имени всех его участников. Я ответил, что не буду обижаться, если они в свою компанию примут еще и Павлика Иванова, на которого у чекистов не было серьезных материалов.

Нам с Игорем вся эта их возня повредить уже никак не могла; я соглашался со всем, какую бы чушь обо мне ни рассказывали наши «противники», и отбивался только от излишеств в трактовке штампа и от протокольной оценки наших действий.

Втайне я надеялся, что кто-то более умный и справедливый когда-нибудь, даст Бог, прочтет эти «труды» и расставит все по своим местам! И спорил со следователем из-за подтекста в каждой фразе и за значение каждого слова. Это выводило майора (потом подполковника) из себя. Он не уступал и не мог уступить, потому что в их юриспруденции со времен Гражданской войны сложились малограмотные «революционные» штампы, по их мнению, усиливающие значение слов обвинения.

Больше всего нас обоих злило расхождение в определении понятий «преступная» деятельность, «контрреволюционные» или «революционные» действия. Он называл меня «контриком», а я себя, наоборот, – «революционером». В конце концов он все же не так часто использовал эти слова.

Однажды Маракушев, к тому времени уже подполковник, был в командировке, и мне полагался «отгул», меня все-таки вызвали и повезли в следственный корпус. Да еще с особым почетом – одного на трехтонной машине при четырех автоматчиках сопровождения. Оказалось, со мной пожелал говорить «сам» – начальник контрразведки генерал-майор Попов.

Беседа в присутствии толстого, на вид добродушного майора, с которым мы не были до этого знакомы, длилась более двух часов. Генерал был покладист, грубоват и по-солдатски остроумен. Он по-отечески пожурил меня за участие в аванюре с нашим полетом. Поиздевался немного и над названием «Третья сила»...

Это в ту ночь он рассказал мне, что нашему Саше Никулину (Попову) повезло несказанно. Генерал был не только его однофамильцем, но и земляком, а возможно, и дальним родственником. И лично знал отца Саши – директора школы в городе Грязи Воронежской области.

Но главное, генерал очень хотел узнать из нашей беседы, сколько же в действительности денег мы привезли с собой. Он сам скрупулезно посчитал всю наличность – и в карманах у каждого бойца, и в отдельном пакете.

Все «десантники» заявляли в один голос, что немцы «подарили» нам два миллиона. И только я упрямо твердил, что у нас было меньше миллиона девятисот тысяч рублей. Дело в том, что часть денег все же разворовали бойцы отряда, которым повезло найти наш грузовой парашют в брянском лесу. Никто не хотел признаваться в грехе, потому что это грозило военным трибуналом. Генералу лично пришлось вести дознание о своих мародерах.

Но при встрече со мной ему хотелось выглядеть гостеприимным хозяином, и он добродушно улыбался на протяжении всей нашей беседы. Его полное лицо располагало к откровенности. И я без утайки рассказал улыбающемуся человеку, что часть денег мы потратили уже в Кракове. Валюта эта была там в ходу наравне с польскими злотыми. Причем ее ценность росла по мере приближения Красной армии. Мы покупали на рынке лук, чеснок и другие овощи, которых нам не хватало, а иногда еще и мясо, молоко и другие продукты.

Но больше всего – именно сто тысяч рублей – я подарил Сусанне Даниловой в вечер последней нашей встречи. Меня с ней связывали дружеские, теплые взаимоотношения: она называла меня своим братиком, а я ее – сестричкой. Я знал, что у Даниловых никаких средств, кроме того солдатского пайка, который они получали у немцев, не было. И им про запас деньги были очень нужны.

Генерал поблагодарил меня за откровенность, поручил майору оформить мои показания, пошутил еще немного как с добрым знакомым, велел адъютанту покормить солдатскими щами, пожелал доброго утра и распорядился отправить «домой», опять на «персональном выезде».

А со следующей ночи началась у нас с этим майором «настоящая работа». В отсутствие генерала он оказался совсем не добродушным, а открыто злым, изобретательным и жестоким. Из поручения, ему данного, он, пока Маракушев отсутствовал, решил создать целое дополнительное дело. Мне было предъявлено обвинение в том, что я выплатил казенные деньги шпионке за сообщение некой секретной информации. Версия была настолько дикой, что я начал открыто хамить следователю. А тот в ответ не скупился на провокации и физические меры воздействия.

Я отказался подписывать протоколы.

И пожалел потом об этом. Ну зачем мне были лишние неприятности, и какая разница, что там написано, в их протоколах?!

В отсутствие «моего» постоянного следователя у меня состоялась еще одна довольно интересная встреча. Это произошло в воскресенье, когда обычно они отдыхали от нас, а мы – от них. Меня вызвал некий капитан, вежливый, корректный и внимательный. И половина ночи, проведенная с ним, прошла в разговоре, больше похожем на беседу двух приятелей, чем на допрос.

Капитан был секретарем партийной организации следственного отдела СМЕРШ. И интересовался всем тем, что совсем не интересовало Маракушева, а именно идеологической основой нашей Организации. Он очень подробно расспрашивал меня о работе НРП в немецком тылу.

Никаких последствий наша встреча не имела, но беседа с умным и тактичным человеком, который просто сам хотел во всем объективно разобраться, была редким явлением в тех условиях.

Михаила Михайловича Замятина из Воронежа отправили, как нам стало известно, в Москву, выделив его «дело» из нашего группового. Значит, ему повезло больше – пришлось побывать на Лубянке.

Он, как и Игорь, поморозил в лесу лицо, руки и ноги и вынужден был выйти к людям за помощью. И его тоже заложили «гостеприимные» хозяева. Перед отъездом он мне вкратце нашептал свою грустную историю. А еще похвалился, что сохранил на себе нашу походную типографию – аккуратно сшитый жилет с внутренними карманчиками, в которых удобно был разложен в алфавитном порядке пластмассовый шрифт, готовый для изготовления небольших листовок в походных условиях. Остается удивляться, как он мог пронести эту «невинную» жилетку через десятки жестких тюремных шмонов!

О моем существовании следователь «забыл» только в декабре 1945 года. Перед этим мы с ним несколько ночей занимались чтением «мемуаров» – листанием папок моего «дела» – к подписи по так называемой статье 206. Маракушев в ту ночь был особенно величав – в парадной форме, с новенькими полковничьими погонами. Он свысока разговаривал со мной и подчеркнул в назидательной речи, что я «своим поведением» на следствии приработал себе несколько лет лагеря дополнительно. А кроме того, сказал, что он почел своим долгом сделать отметку в моем «Личном деле» – для создания особого режима моего содержания. И при прощании добавил, что с великой радостью покидает «эти надоевшие ему развалины города».

А в январе случилось настоящее чудо! Неожиданно нас собрали в одной камере вместе: Игоря, Павлика, Аркадия, меня и еще двух из наших старших по возрасту солдат. Опытные арестанты предсказывали: скоро нас ожидает вызов в суд. Однако странно: перед судом «однodelьцев», по законам чекистов, полагалось содержать врозь, чтобы не сговаривались! А нас собрали вместе...

Что-то случилось!

Вскоре прояснилось: меня первого вызвали из камеры – одного, без вещей. И в кабинете дежурного по корпусу на том же этаже невзрачный, но официально настроенный лейтенант скороговоркой прочел мне, как неграмотному, напечатанный на сереньком клочке бумаги «Приговор Особого Совещания при МВД СССР».

Меня, как оказалось, какие-то чины из Министерства внутренних дел заочно осудили на 20 лет исправительно-трудовых работ. Я расписался в том, что «ознакомлен», и лейтенант сразу убрал документ, будто специально, чтобы я не смог рассмотреть состав «суда». Я так и не увидел, кто же они такие, эти люди, лихо распорядившиеся моей судьбой.

Вслед за мной и Игорю таким же образом присудили 15 лет, Аркадию, как и мне, – 20, двум старшим товарищам – по 10 лет, только Павлику Иванову – 5; он тогда чувствовал себя очень неловко, но, видно, сработала-таки наша договоренность.

(Из всех друзей каким-то чудом сохранилась у меня фотография моего юного «адъютанта». На обороте значится, что он прислал ее из Ангарска в 1947 году.)

А я-то готов был уже к той оценке своей деятельности, которую называли «высшей мерой»! А Игорь после процедуры скорого суда залез на верхний настил нар, отвернулся и засопел носом, как обиженный мальчишка. Ему, видите ли, было обидно! Даже роль Аркадия эти судьи оценили выше, чем его!

Потом он объяснил: он осознавал вполне ясно, что выжить там, куда нас увезут, перенести эти сроки нам все равно не удастся. Выживать из всех должен был только Павлик.

А ему, Игорю, была важна только объективная оценка его вклада в общее дело. Такую оценку могут дать только враги.

Наш скромный и тихий Аркадий оказался на проверку очень верным товарищем. И схлопотал именно за эту верность дополнительный срок, да еще и «черную метку» – отметку в личном деле – ООП, т. е. «особо опасный преступник». И положил свою молодую жизнь.

Все остальные товарищи могли представить свое поведение в тылу у немцев как вынужденное, но не он: радист мог действовать таким образом, как это делал он только вполне осознанно. Чекистам очень хотелось и Данилова с его командой заманить к себе на расправу.

И если бы Аркадий не предупредил их, они, как и мы, обязательно оказались бы в руках контрразведчиков.

Я часто думал потом, что первый секретный радиокод знал еще и командир. Вполне возможно, что знал он и запасной. Но, может быть, этих запасных кодов было два? И для командира и радиста они были разными? Данилов ведь был очень осторожным человеком! Не исключен и такой вариант, что Саша знал и не предал. Во всяком случае, Данилову с его ребятами тогда очень крупно повезло.

– А вы заметили, – обратил внимание Игорь, – что в наших приговорах нет дополнительного пункта о лишении прав после срока заключения? Вот спросите у мужиков в камере: слышал ли кто-нибудь из них о таком приговоре, где не было бы этих самых обязательных «по рогам» – еще по пять лет? А у нас их нет! Нам же до времени этих самых годов «поражения в правах» все равно жить не положено! А потому в их «приговорах» я лично вижу только одно, и притом самое важное: относительно объективную оценку нашей деятельности.

Над нашими рассуждениями потешались не только наши товарищи, но и все сокамерники...

На пересыльном пункте в городе Усмани (что по-татарски значит красавица) в одной огромной камере, целом зале человек на сто, собралась опять почти вся наша команда, хотя и в другом качестве. Было нас десять человек.

Отношения сначала были несколько прохладными, но уже к вечеру мы поняли, что делить нам теперь нечего, что защищались каждый кто как мог и что особенного вреда никто никому не причинил. Все-таки нужно отдать справедливость: несмотря на сложную обстановку, все вели себя относительно корректно.

Не было с нами только Замятина и Никулина-Попова. В «деле» командира, оказывается, имелось даже личное ходатайство генерала. «Особое совещание» все учло и ограничилось тремя годами ИТЛ. Попов был амнистирован ко Дню Победы и освобожден из-под стражи.

Какая-то добрая душа сообщила моим родителям, что я в Воронеже, и мама приехала меня разыскивать. Догнала она меня только в Усмани на пересылке. Я представил себе это путешествие и поразился мужеству маленькой женщины. Ведь только недавно закончилась война, был голод, разруха, железные дороги перегружены. С несколькими пересадками, в товарных вагонах, в толпах «мешочников» моя мама преодолела путь из Львова с передачей для меня весом не менее двадцати килограммов!

Свидание нам не разрешили – я уже получил разряд «особо опасного». И мама проявила находчивость... В особо сложных ситуациях она всегда находила в себе необычайную душевную силу. За плату какому-то старшине ей все же показали меня на несколько секунд через окошко в воротах, с расстояния не менее десяти метров. Она покивала мне головой и даже не заплакала.

Сало с сухарями из Львова, приготовленное для меня в дальнюю дорогу, мы ели всей командой. Такая пища после длительного голодания могла повредить нашим желудкам, но тюремная мудрость гласит, что продукты лучше всего хранятся в брюхе. Ночью воры пробрались под деревянными нарами и украли остатки от нашего пиршества.

Они не скрываясь, открыто ели наше сало и хвалили его, явно издеваясь. И тогда начался бой. Шпаны было больше, но мы все же победили, отобрали остатки сала, сухари и заставили воровскую команду просить надзирателей о переводе в другую камеру.

При отправке в этап нас уже разделили.

С Игорем и Аркадием я проехал с пересадками до Вологды.

В Вологде меня с ног свалила жестокая ангина, и я попал в тюремную больницу с температурой под сорок. Тесно, грязно, душно, по телу ползают огромные, породистые клопы... Практически никакой медицинской помощи не было, меня просто изолировали от здоровых. Настало время, когда я потерял всякий аппетит, отказывался от пищи и лежал безучастный ко всему. Но тело и душу мне согревал белый свитер из тонкой шерсти, переданный мамой и надетый под нательную рубашку. Даже в бреду, теряя сознание, я сознавал, что нахожусь под его защитой!

Лишь потом, в «столыпинском» вагоне по дороге на Север, когда мне стало лучше, меня уговорили отоварить мой талисман. Пришлось это сделать, потому что его бы и так отобрали. Дали за него буханку хлеба и два соленых огурца. Мне от этого богатства досталась горбушка граммов на триста.

Был конец апреля. На Воркуте наступило постоянное, хмурое полярное утро, но зима еще была в полном разгаре. На улице морозы не снижались ниже 15–18 градусов. Часто мела пурга. И ветры такие, что на них можно просто лечь всем телом, как на постель, и не упасть.

Мне и еще нескольким заключенным из нашего этапа очень повезло: нас привели в небольшой лагерный пункт, считавшийся среди блатных одной из лучших зон в системе Воркутлага. Это была зона Нового кирпичного завода. Новым он назывался потому, что недавно на Воркуте существовал еще и Старый кирпичный завод. Но сырьевые ресурсы его исчерпались, кирпич стал стоить дорого, и завод закрыли.

Одновременно был решен и социальный вопрос: часть рабочих перевели в Новый, а от остальных – «контриков» – просто избавились. Их ликвидировали вместе с бараками. Рассказывали об этом старожилы без всяких эмоций, как о самом обыденном происшествии. Новички понимали особый колорит этого края... Инициативу в рационализации решения «производственного» вопроса и сортировки заключенных проявил «московский гость» – старший лейтенант НКВД Кашкетин.

Нас в эту производственную зону доставили по заявке администрации лагеря на рабочих по профессиям. С моих слов в «личном деле» значилось: профессия – технолог. Я при опросе уточнял: технолог по переработке плодов и овощей, а записали только основное слово! Никто так и не понял, технологией какого производства предстояло мне заниматься в зоне кирпичного завода, а старший нарядчик рассудил по-своему: быть мне землекопом.

Грунт в Заполярье – это замороженная глина. По вязкости очень похожа на свинец желтого цвета. Выдолбить в нем с помощью кирки и лопаты даже небольшую ямку под столб для ограды мог только сильный, здоровый, а главное, сытый мужик.

Я же – «слабак», с атрофированными мышцами рук, дрожащими ногами, после полутора лет тюрьмы и тяжелой ангины, был обречен еще и на голодное прозябание, так как количество пищи всегда и везде в ГУЛаге прямо увязано с процентом выполнения нормы выработки на производстве.

Я и не пытался выполнять норму, это было бесполезно, а шевелился просто для того, чтобы не замерзнуть. Так поступали и все «доходяги». Однако интуитивно я знал, что «доходягой» я ни в коем случае не буду.

Эти люди, доведенные до крайности, теряли стержень. Они собирали отходы около кухни, подбирали куски и рыбы кости со столов, пили много воды, чтобы заглушить голод. Лучше буду умирать с голоду, терять здоровье от недоедания, но не унижусь, не утрачу человеческого достоинства.

В зоне, наскоро заглотив все, что выдавали на обед, я забирался на верхний ярус жестких деревянных нар и забывался в тревожном сне до самого утра, с перерывом только на вечернюю поверку.

Один раз я решился устроить себе «отгул». На разводе молча протянул руку дежурному фельдшеру – тот по частоте пульса определил, что у меня повышенная температура, и отправил в барак досыпать до девяти часов, когда на работу приходят вольнонаемные врачи. Пульс у меня постоянно тогда был более 90 ударов в минуту, но на температуре это сказывалось не в мою пользу – она постоянно была пониженной. По мнению врачей, это было личной проблемой каждого, администрация опасалась только эпидемий.

Врач в тот день освободила меня от работы по свершившемуся факту. Она прекрасно понимала природу учащенного сердцебиения, так бывало со многими, но редко кто пытался воспользоваться этим. Врач была добрым человеком и иногда даже жалела заключенных.

Я повторил свою авантюру через пару недель, когда на смену в развод вышел другой фельдшер. И тогда врач сказала:

– Еще раз повторишь – будешь наказан!

Но опять записала меня на больничное освобождение.

Днем, когда мы уходили на работу, в зоне становилось, как оказалось, намного веселее: дружно обедала смена рабочих кирпичного завода. Они шутили, смеялись, как с равными, переговаривались с поварами... Это о них строители говорили, что кирпичники «закормлены с осени». Все они были упитанными, крепкими ребятами с круглыми румяными лицами. Ели нехотя, красуясь, презрительно отталкивали недоеденное, оставляли на столах огрызки хлеба.

Один покосился на меня и показал головой на объедки. Я отрицательно помотал головой.

– Голодные, но гордые! – неодобрительно отреагировал «кирпичник».

Другой сам подошел к моему столу, поставил передо мной двойную порцию каши и положил кусок хлеба:

– Ешь. Не стесняйся.

Потом мне объяснили. В зоне оцепления, кроме кирпичного завода, размещалась еще и пекарня, обслуживающая центральный район Воркутлага. И кирпичники по очереди, несколько дней в неделю, после смены отработывали еще на самых тяжелых участках хлебозавода. Им приходилось очень туго, но они были сыты.

А строители, вернувшись после работы на зону, бегом врываются в столовую, иногда в драке сгребая со столов все остатки.

Мы жили в бараке, который звали «шалман». Спали без постели, на голых нарах, в трещинах которых селились полчища клопов. А тумбочки оккупировали тараканы.

В бараках же «кирпичников» такие же нары были отскоблены стеклом, отпарены от насекомых крутым кипятком и застланы чистыми одеялами с белыми простынями. Почти у каждого было по несколько подушек, а кое-где встречались и ватные одеяла.

Там пахло чем-то жареным и... густым потом.

Я пошел туда на экскурсию. Но дневальный меня сразу выставил – в эти «хоромы» чужих не впускали.

В зоне рядом с вахтой были отгорожены небольшой участок и половина типового барака. Там обитали женщины. Их было человек двадцать. В большинстве своем литовки и латышки. Несколько пожилых, остальные – молоденькие.

Работали они почти все в швейных мастерских – чинили спецодежду, в основном – прогоревшие на выгрузке кирпича из печей телогрейки и рукавицы. Женщины держались кучно, в одиночку не решались пойти даже в поликлинику или в контору за посылкой.

В столовой их часто обижали доходяги. Заметив обычную для женщин брезгливость, эти потерявшие человеческий облик «строители» развязно подходили к столам, где обедали девочки, бросали в их тарелки какой-нибудь огрызок или окунали туда грязный палец – и задавали наивный вопрос: «Вы это есть не будете?»

Забирали еду, даже не ожидая ответа.

Защитить женщин было бы очень просто: перенести их обед на то время, когда в зоне нет «строителей». Но администрация не была в этом заинтересована. Комфортные условия создавались только для тех, кто соглашался чем-то поступиться, стать более сговорчивым.

А я смотрел на них с болью. И именно так всегда представлял себе сестру, улавливая сходство с некоторыми девушками из Прибалтики.

А Нина тогда была еще на свободе. Их судили позже – в 1947 году. Нину привезли из Львова и присоединили к группе Игоря, Светланы и Лиды в Киеве. Их фотографии того времени (еще в колонии киевского завода «Арсенал». Там еще условия жизни были сносными) – вот они: Светлана, Лида и Нина...

Срок по восемь-десять лет почитался «детским». Таких осужденных часто оставляли в местных колониях. Но у наших было потом еще почти девять лет относительной свободы в отдаленных местах страны. У Нины – в тайге под Томском. После этого она обосновалась в Троицке Челябинской области – туда после окончания института был распределен ее муж.

Лиде Ереминой удалось вернуться на родину, но только в Киевскую область, к родителям ее мужа.

Светлана Томилина вышла замуж за Виктора Васнецова – потомка знаменитых художников и в прошлом тоже политического заключенного. Им удалось вернуться в Киев в 1963 году и прописаться в квартиру мамы Светланы.

Где осел Игорь Лещенко после десятилетнего срока в Воркуте и реабилитации – неизвестно.

А тогда, в 1946 году, освоиться в «благополучном» лагере кирпичного завода мне так и не удалось. Пометка на моем «Личном деле» требовала от администрации лагеря исполнения предписания. И как только пригрело северное солнышко и наступил круглосуточный полярный день, два конвоира со специально тренированной собакой препроводили меня на самый север Воркутинского промышленного района, в штрафную зону знаменитого по всему Северу «Известкового».

Это было страшное место. Оно приводило в трепет зэков диким разгулом преступности. Там царила тотальная власть воровских авторитетов, которые пользовались неограниченной поддержкой надзирателей и самого начальника лагеря Гаркуши. Этого Черного Ворона боялись на Воркуте больше даже, чем всесильного генерала Чепиги – начальника режима Воркутлага.

В небольшой зоне собирали весь «цвет» воровского мира Воркуты. Для администрации «Заполярной кочегарки» – Воркутлага, который и сам-то был средоточием самых отъявленных преступников ГУЛага, это место служило отстойником.

Жизнь человека в «Известковом» ничего не стоила. Ее можно было лишиться из-за куска хлеба, косого взгляда и даже по капризу какого-нибудь отморозка. Там даже такие законные «удобства», как место в бараке для отдыха после работы или посуда для получения пищи на кухне, были для нас недостижимой роскошью. Подробно о том времени я написал в своей повести «В круге седьмом» («Тоби-Бобо»).

Для меня, далекого от понимания взаимоотношений в преступном мире, ослабленного и больного, выжить там было просто невозможно. И то, что я все-таки в живых остался, – настоящее чудо.

Первым великодушным подарком Провидения стала неожиданная встреча в этом забытом Богом краю с моим другом Аркадием Герасимовичем. Впрочем, друзьями мы стали именно в лагере. А до этого были просто «однодельцами»

Вдвоем стало гораздо легче. Мы помогали друг другу, чем только могли, и обрели надежду на спасение. Больше, конечно, Аркадий помогал мне. Он попал в эту зону немного раньше и, будучи электриком высокой квалификации, приспособился подрабатывать себе на кусок хлеба.

Второе чудо – меня разыскала «пробная» посылка от моих родителей. Из этого вожделенного ящика, килограмма в четыре, нам с Аркадием досталась только головка чеснока и одна ванильная сушка, которую мы по-братски разломили пополам. Все остальное исчезло в карманах и жадных ртах надзирателей, сбежавшихся «присутствовать» при вскрытии посылки. Остатки ушли как дань в воровскую «малину».

Посылка, кроме того, повысила мой статус в том диком мире. Что явилось особенно важным обстоятельством в тот период, когда не стало Аркадия: он погиб при аварии из-за природного катаклизма.

Почти в то же время, всего несколькими днями позже, каким-то загадочным путем разыскало меня и прощальное письмо Игоря Белоусова. Мой друг умирал от истощения и туберкулеза в больничном городке под Котласом.

Два лучших товарища ушли почти одновременно – летом 1946 года.

Я не ответил Игорю: не было ни бумаги, ни карандаша. Не было у меня и права писать кому-либо, кроме родителей.

Даже о том, что посылка мною получена, сообщили другие, а мне принесли только подписать официальное извещение.

Третье счастливое обстоятельство – санитарно-административная комиссия из Комбината, неожиданно – по чьей-то жалобе – нагрянувшая в лагерь. Меня в числе трех десятков самых-самых госпитализировали на две недели для «оздоровления».

Вторая посылка от родителей, продуктами из которой я попользовался немного больше, чем в первый раз, дала возможность окружению выяснить, что я, с моим неполным меди-

цинским образованием, все же являюсь самым подготовленным «доктором» в лагере. И меня назначили на должность старшего санитаря с обязанностью раздавать лекарства и мыть полы в «медицинском учреждении».

При этом звание «посылочника» значительно расширило круг завистников и моих открытых врагов...

И, наконец, четвертое – из области чистой мистики. Я уверен, я убежден, что меня спасли неусыпные молитвы моей матушки. И они-то, пожалуй, привели к тому, что незнакомый таинственный друг, никогда прежде не видевший меня и вообще ничего обо мне не знавший, просто так, по наитию, по велению души дважды спас меня от неминуемой смерти.

Чудеса в нашей жизни бывают разными. Часто мы просто их не замечаем. У меня это произошло именно так!

Заключенных этапа из «Известкового», и меня в том числе, потом целых два месяца «лечили» в новых бараках цементного завода, в организованной там новой больничке. И тех, кто выжили после этого лечения, отправили в «свои» лагерь.

Меня вернули в зону кирпичного завода, определив на строительство того же лесокombината. И мы – шестеро молодых «дважды преступников» (дважды потому, что отметка о пребывании в штрафном лагере оставалась «черной меткой» навсегда) – под дружный смех явились в обмотках и настоящих лыковых лаптях. Такую обувь большинству из присутствующих на вахте никогда и видеть не приходилось.

Мы были тогда, кажется, даже немного счастливы. Потому, что удалось ТАМ выжить, и потому, что попали все же «домой», где царит хоть какой-то закон, где обедают в настоящей столовой, сидят на настоящих стульях и едят из алюминиевых мисок. И где, как нам говорили, если осмелишься попросить добавку, то, может быть, нальют густого супа. Там, в том лагере, выдавали потом даже матрасы и одеяла, старые, конечно, и грязные, но настоящие, без дырок. И определяли каждому собственное место в теплом бараке.

Мы работали в тот первый день до упаду, хоть на дрожащих ногах, но бегом и с песней. Эта песня была нашей благодарностью прорабу за то, что нас оставили в отдельной бригаде и дали посильное задание: засыпать стены цеха лесозавода смесью опилок со шлаком. Начальство строительного комплекса и просто любопытные приходили посмотреть на новеньких «лапотников» в деле и одобрительно нам улыбались.

Кормили нас в тот день по повышенному «котлу», и повара сами предлагали добавку. Мы боялись есть, чтобы брюхо не лопнуло, хотя глазами ели бы и ели...

Это был наш день. И мы думали, что так будет всегда. Но через несколько дней все стало на свои места.

Была еще черная заполярная ночь. Морозы держались около 30 градусов, и зима не хотела сдавать позиции. Мы отчаянно мерзли и были постоянно голодны. Закончилась засыпка стен, бригаду расформировали, а членов ее растолкали кого куда. И я, человек без определенной строительной профессии, опять очутился в такой же, как и в прошлом году, ямке, с кайлом и лопатой в руках.

Как многие землекопы, я стал «кротом», который никогда не выполняет норму, из-за которого снижаются показатели и бригады, и участка. Презираемым, вечно голодным, слабеющим с каждым днем все более.

На вещевом складе мне выдали валенки, хотя и не новые, но аккуратно подшитые, и никто не оглядывался с улыбкой, глядя на мою фигуру некрасовского крестьянина в живописных лаптях. Валенки, конечно, в первую же ночь из сушилки исчезли, а помощник бригадира еще и обругал меня, сердито бросив «сменку» – валенки старые и растоптанные. В тот день я позавтракать не успел и пошел на работу с горбушкой хлеба за пазухой. Очень кружилась голова, и я едва не угодил под свалившееся бревно...

Так проходили день за днем, месяц за месяцем, и жизнь все больше гнула меня в дугу, даже в этом «благополучном» лагере.

Началась весна – был май 1947 года.

Начальника конвоя почему-то сменили незаметно для всех. Новый, обходя зону в сопровождении бригадира, остановился перед моей ямкой в раздумье.

– А ты костер разложи – земля и оттаяет. Тогда и лопатой можно копать, – посоветовал он.

И в голосе его я неожиданно для себя уловил сочувствие.

Мы спокойно, почти как равные, принялись обсуждать, как лучше справляться с таким грунтом. А потом еще обсудили особенности климата и то, что не каждому по силам такая работа.

Ничего подобного до сих пор не бывало. Бригадир стоял чуть поодаль с безразличным лицом. Разговор с начальником конвоя обычно ограничивался руганью, угрозами и окриком. А этот вдруг понял, что для меня просто невозможно при всем моем старании выполнять норму на копке ям. Хотя это было совсем не его дело. Потом он вдруг спросил:

– Лапти твои целы? Я бы купил их у тебя.

На мой удивленный взгляд он, смутившись, объяснил:

– Я все детство проходил в такой обуви. Жили бедно...

Его звали Александр Вежелебцев.

Через несколько дней по его просьбе прораб перевел меня на другую работу: готовить дрова для костров, разгружать трактора со шлаком, чистить снег с дорожек, следить за тем, чтобы была вода для питья, и выполнять разные мелкие работы, не требующие специальных навыков.

И еще прораб поручил мне составлять строевки и относить их в контору лагеря. Строевка – это такой немудреный ежедневный рапорт о количестве заключенных, выведенных на объект. Сначала эти документы подписывал он сам, а потом велел мне:

– Подписывай-ка ты... – Фамилия его была Похлебник, и он стеснялся лишний раз ею пользоваться.

Я был горд поручением, мне никогда в жизни еще не приходилось подписывать какие-нибудь документы! И я с удовольствием стал при всяком удобном случае разрабатывать свой росчерк. Мне нравилось и то, что я должен носить с собой бумагу и химический карандаш. И что я стал вхож по службе в контору лагеря.

Однажды все тот же Александр Вежелебцев (может быть, за то, что я напомнил ему его детство, а может, просто потому, что уже появилось над горизонтом долгожданное солнышко и люди, почувствовав приближение весны, стали сами чуточку добрее) повел меня в зону каторжан. Их бригады трудились рядом с нами, заключенными. Выполняли они основную – не только самую тяжелую, но и наиболее квалифицированную – работу.

Зона их примыкала к общей – производственной.

Весь инженерно-технический и обслуживающий персонал стройки, включая главного инженера и двух прорабов, были каторжанами из этой зоны и, как и все, отмечены были номерами на спине, колене, рукаве и шапке.

Мы же, заключенные, носили такие же знаки на спине и рукаве.

Вот и вся между нами разница.

Сроки у них были в основном 15 и 20 лет, а в нашем лагере, среди заключенных, сроком в 20 лет награжден был я один. И на меня поглядывали как на пугало огородное. Получалось, что я по своему правовому статусу больше подходил к каторжанам. Да я бы с радостью перешел в их зону! Там почти не было воров. А те, которых судьба туда занесла, не особенно свое звание и рекламировали. Не было там наглого произвола, казалось, было больше справедливости и порядка внутри зоны.

Несколько месяцев я раздваивался: работал среди каторжан, а ночевал «дома» – в зоне кирпичного завода. За это время появились друзья, добрые товарищи и среди каторжан, и среди заключенных. Да я и сам, хотя еще постоянно голодный, постепенно становился похожим на нормального человека.

В лагерях считалось дурным тоном спрашивать, что написано в личных делах, кто за что сужден. И так было видно, что огромное большинство и каторжан, и политических стали жертвами режима или обстоятельств. Изредка встречались идейные – бойцы против системы. Больше всего – из среды бывших военнослужащих. Они и в лагере выделялись своим поведением, самодисциплиной и уважением к себе и к людям.

Я исподволь присматривался к взаимоотношениям между людьми в той и другой зонах, сравнивал и старался учиться всему, что могло пригодиться для того, чтобы найти там свое место и элементарно выжить. Впереди ведь было целых восемнадцать лет!

Я хорошо понимал, что мое нынешнее благополучие относительно, временно и основано на добром отношении Вежелебцева. Как только его сменят (а их часто там меняли, чтобы не обвыкались на одном месте), мне опять придется браться за мои «любимые» кирку и лопату.

Несколько раз меня задерживали на работе, и тогда по просьбе главного бухгалтера или главного инженера начальник конвоя отводил меня одного «домой». Мы шли с ним по пустынной дороге рядышком, как два хороших приятеля, и мирно разговаривали. О многом рассказал я ему из своей жизни. А он слушал с интересом... и не осуждал меня.

Один раз Саша Вежелебцев он очень торопился по каким-то своим делам и с половины дороги отпустил меня одного. Целый километр до вахты я должен был идти сам, без сопровождения. Я был в шоке, и больше всего боялся, что он за это получит неприятности.

И он осмелился на такой поступок, хотя я рассказал ему о том, какой я «опасный преступник»! Потом, когда я поделился своими страхами, он посмеялся:

– Да куда бы ты делся здесь, вот такой-то?

Однако оказалось, что благоприятное время для меня еще не наступило, мой «фарт» только набирал силу, только приближался.

Сначала пришла еще одна посылка из дому.

Вообще я, по моим подсчетам, за время заключения получил шесть посылок. Это было в 1946–1948 годах. Нам тогда разрешили получать по две посылки в год и по три письма.

Отдав воровской «малине» и бригадире все, что «положено» по лагерным неписаным законам, я постарался угостить хоть чем-нибудь каждого, кто относился ко мне благожелательно, кто помогал хоть чем-то, кто был добр ко мне. Таких набралось неожиданно много.

Это оказалось мудрое решение, потому что остатки продуктов хранить все равно негде, а носиться с ними в камеру хранения я считал постыдным. И все это у меня обязательно бы украли, когда бы я пошел на работу.

В конце лета в плановом отделе лагеря, куда я принес свою «строевку», как делал это ежедневно, мне сказали, что меня хотел видеть сам Герцог – всемогущий бухгалтер лагеря по продуктам.

По его словам, они несколько месяцев изучали меня и решили на совете бухгалтеров, что я им подхожу. Мне предложили занять укромное место за столом у самого барьера – счетовода по вещдовольствию. Это было много больше того, чем я мог ожидать от жизни в ту пору. Фортуна повернулась ко мне лицом как-то сразу, неожиданно. И каждый день потом на этой работе я ощущал, что такое благополучие не по мне, оно временно. Я ведь был единственным в этой зоне богатым на срок, а кроме того, еще и отмеченным позором «Известкового». И много ли здесь эзков с черной меткой «ООП» – организации СМЕРШ?

Может быть, состояние обреченности сыграло со мной злую шутку, но все же на этой должности мне удалось продержаться почти семь месяцев.

В зоне Кирпичного я во второй раз в жизни прошел школу своеобразного солидаризма на практике. У меня уже создался своеобразный стандарт для определения признаков этой системы, и я часто искал их даже там, где системы не было.

Но здесь солидаризм все-таки был (хотя раньше, до моего появления, «это» так не называлось)! Особые люди и особые условия, каких не было в других лагерях...

Во-первых, в зоне не было своего «кума». «Оперативный работник» приходил из соседней зоны и осуществлял свою «полезную» деятельность хоть и очень рьяно, но все же только по совместительству. Его не любил к тому же директор Кирпичного, который заодно был и начальником зоны. Он считал, что интересы у них прямо противоположные и часто мешают друг другу. Для нас главным было то, что «кум» категорически возражал против назначения на ключевые должности в лагере «политических», а начальник лагеря – наоборот. Он ненавидел воров и находил в хозяйственных делах общий язык только с «контриками».

Во-вторых, в зоне кирпичного завода никто не «держал» зону, как это было в других лагерях. Все эки трудились, и «малине» из числа строителей не давали возможности не только наводить свои порядки, но и голову поднять. Почти никто никого не объедал, как принято в других лагерях. Потому что если рабочий Кирпичного был голоден, но здоров, он имел возможность подработки на хлебозаводе или на продуктовом складе.

В-третьих, основной контингент зоны состоял не из русских, а из немцев Поволжья, прибалтийцев, румын и западных украинцев. И из-за этого там возник особенный микроклимат.

Еще в 1942 году на Кирпичный завод привезли из поселка на Волге учеников местной школы и с ними двух учителей. Учителя по привычке и здесь занялись воспитанием своих питомцев. Один из них вскоре умер, второй – Франц Мартынович Муншау – успел сделать карьеру.

В 1956 году Муншау работал экономистом (должность в лагере всегда почитаемая) и являлся «авторитетом» и для своих бывших подопечных, и для коллег по работе, и для руководителей лагеря. Раньше он был шефом только для своих учеников. Но ученики выросли, возмужали, а он, оставаясь для них все тем же «батей», постепенно расширил влияние на всех окружающих. Так создался «класс учителя Муншау». К тому времени, когда я попал в зону, в сфере влияния этого «класса» были уже и латыши, и татары, и русские, и украинцы...

Меня, как оказалось, помог выудить со стройки тот же Франц Мартынович. Это ведь ему я носил свои «строевки». Однако заправлял тогда «классом Муншау» уже совсем другой Мартынович – Карл Мартынович Бредис – старый, мудрый и дальновидный латыш. Вообще-то, по должности он был всего лишь заведующим продуктовым складом. Но им, как человеком с проверенной много раз репутацией, очень дорожили начальник снабжения и сам начальник лагеря.

Эти умудренные опытом люди, оказавшиеся в немилости у большевиков, внесли кое-какие коррективы в мое лагерное воспитание. И помогали, чем только могли.

Я тоже старался помогать другим, если представлялась такая возможность.

Когда я попал в беду (меня почему-то отстранили от должности и посадили в «маленькую тюрмочку»), Карл Мартынович каким-то образом переслал «маяву» на Центробазу ОТС. В ней он просил содействия у главного инженера Гафарова. И тот – в прошлом тоже участник солидарной помощи «класса Муншау», за год до этого вышедший на свободу, – сразу откликнулся. Это Гафаров забрал в другую зону для работы на базе с нами и всю бригаду блатных, которую держали в БУРЕ и не хотели принимать на Кирпичном. Через месяц всех воришек уже отправили дальше по эстафете, портного пристроили работать по специальности в городском ателье, а я так и остался при бухгалтерии Отдела технического снабжения комбината.

Я поделился с друзьями из зоны Кирпичного политическим секретом, скрытым в названии «солидаризм». И они, ненавидевшие всякие «измы» в одном комплекте с коммунистами, согласились все же, что используют именно эти принципы в своем обществе.

То были годы, когда многие особенно сильно предощутили новую эпоху в стране. Это предощущение приходило не из центра, оно начало ощущаться там, где созревала «критическая масса» сопротивления, где копилась черная энергия бунта.

Только что на Воркуте завершилась большая «сучья война». О жертвах, понесенных воровским миром, никто, конечно, не сообщал общественности, но слухи ходили, что погибли несколько сот человек.

Вскоре прорвался нарыв и на Северном Урале. Восстание там носило политический характер. Политзаключенные сумели организовать, и воры их поддержали. Вооружились и завоевали временную власть строители «501-й стройки» – строители дороги с Северного Урала до «Заполярной кочегарки».

До Воркуты докатились и слухи, и тяжелое дыхание бунта вместе с отголосками о кровавых схватках. Плакали на работе женщины – жены надзирателей: их мужей срочно призвали в мобильные воинские подразделения.

Северный Урал рядом с Воркутой. Заснеженные вершины гор в хорошую погоду, как на рождественских открытках, видны на горизонте из зоны «Кирпичного». Отряды восставших напрямик, через болота тундры рвались к Воркуте. Не дошли всего 35–40 километров. С каждым километром их продвижения росло и напряжение в лагерях Воркуты. Если бы им удалось пройти совсем еще немного, еще бы всего несколько дней – и трудно было бы сдержать уже энергию устремления им навстречу.

Но не прошли.

Они были бессильны против танков и самолетов. Восстание потопили в крови на болотах тундры.

Надежды рушились, наступила и на Воркуте пора черной реакции. Чекисты опомнились, заволновались и принялись готовить базу для раздельного содержания бытовиков и «контриков». Шли слухи, что на севере Воркутлага для нас готовится новое формирование, названное Речлагом. Там по-особенному «благоустроенное» жилье и совершенно особые условия труда. Там строили зоны с оградой из целиковых сосен, с проволочным ограждением в несколько рядов. Готовили бараки с постоянными замками для «спокойного отдыха», шили особую форму.

Туда вербовали надзирателей из демобилизованных солдат войск НКВД, наиболее дисциплинированных, с особыми требованиями к заслугам в их биографиях. И заработную плату им обещали много выше, чем у обслуживающего персонала в обычных лагерях.

Шахты подбирались для такого контингента с самыми тяжелыми условиями, наименее удобные для разработок. Пласты залегания угля на них очень низкие – немного больше метра. И работать там приходилось на коленях или даже лежа. К тому же еще и загазованность высокая, с большой примесью серы.

Но все это нас мало пугало. Наступило время безразличия к своей судьбе, и просто надоело бояться.

Многое из того, что говорили о тех лагерях, оказалось правдой. О режиме, об особом отношении к нам, заключенным и каторжанам, о сложности работы в шахте и на поверхности, о воздухе, отравленном тлеющим углем с примесью серы...

Весна 1949 года в новой зоне оказалась для меня крайне неблагоприятной. Тяжелая работа по вывозке шлака из котельной со слабой вентиляцией, недостаточное питание, бытовая неустроенность и постоянное чувство безысходности выматывали последние силы.

Хуже всего было то, что с изменением моего адреса прервалась переписка с домом. Ни одной посылки, ни одной строчки. Я написал положенное по режиму мне письмо, потом еще несколько, переслал их через друзей на шахте через вольную почту – ответа не было. Мы потяряли друг друга в этом огромном, враждебном мире. Я места себе не находил в постоянной тревоге за своих близких.

Еще совсем недавно безразличный к религии, теперь я каждый вечер, ложась спать, просил Бога о помощи для своих родных в это нелегкое время. Я был слаб, деморализован и постоянно голоден.

Но не мог, язык не поворачивался просить помощи у кого-либо из старых товарищей, которых собралось в новой зоне достаточно много. Хотя устроены многие из них были, по местным меркам, довольно прилично. Но ведь друга можно приветить, угостить, накормить один раз, ну второй... а потом наступит такая же безысходность.

Даже тошнее, еще хуже...

Появилась однажды иллюзорная надежда на помощь от «воспитанников класса Муншау». Только мало что зависело от тех, кто пытался мне помочь. В основном это был пожарник Яша Юнгман. Для другого «воспитанника» оттуда – начальника пожарной дружины – нужно было встречное движение. Мне самому следовало чем-то проявить себя.

Яша переживал за меня больше всех, изредка подкармливал, приворовывая что-нибудь с общего стола пожарников. А еще постоянно напоминал своему шефу о долге по отношению к «товарищу в беде».

Нужно было и мне мобилизоваться внутренне, обрести уверенность в себе, но никак не удавалось перебороть настроение и хоть как-то попытаться переломить события.

ГУЛаг, нужно сказать, вообще великолепная школа для всех, кто хочет и умеет учиться. Сильные там сдавали экзамен на право существования, слабые – понемногу отсеивались и уходили в небытие.

Действовал закон Естественного отбора!

Опускаться даже на короткий период и плыть по течению было смертельно опасно.

На соседних нарах или на общей работе, в одной бригаде иногда встречались люди, каких на свободе и встретить невозможно, из другой плоскости, из другого измерения. В лагере в одну упряжку с бездарью, серостью были впряжены люди мудрые, талантливые, душевные, отмеченные искрой Божьей... Было так и в тюрьмах, на пересылках, в рабочих зонах – на всем тернистом пути. А на Севере особенно часто.

Как часто вспоминалась мне встреча и скоротечная дружба с юристом Митрофаньевым еще в первый год прохождения «моей службы» в Воронежской тюрьме... Встреча, которая оставила очень глубокий след во мне... И спина сама выпрямлялась. В большой «общей» камере он создал консультационный пункт защиты прав человека, но главное – самоуважение, авторитет «контриков» (обвиненных по 58-й статье Уголовного кодекса) сумел поднять выше, чем звание «вор».

Или встречи с экономистом Теобольдом Боосом. Это и есть тот самый «таинственный незнакомец», который дважды спас меня от неминуемой смерти на «Известковом». Должно быть, в «благодарность», тоже по какому-то наитию, я – не узнав его! – как сувенир на память, прилепил ему кличку позже «Тоби-Бобо». И написал о встречах с ним вою первую повесть.

Таковы создатели «класса Муншау», два Мартыновича, о которых я уже рассказывал; они ушли в туманное прошлое, но след свой протянули сюда – в настоящее.

И начальник конвоя Вежелебцевым, которому по Уставу, по должности надлежало быть со мной злым и недружелюбным. А он несмотря ни на что остался в моей памяти добрым гением. И только много позже я сумел понять, как же ему, с таким сознанием, непросто жилось в его окружении.

Всем им, кто остался личностью в тех экстремальных условиях, и названным мною, и десяткам других, из моей памяти уже не уйти.

Знал я Игнатьева, главного механика линкора, на котором маршал Тухачевский ходил в Англию представлять Советский Союз при коронации королевы Елизаветы. «Дело» механика после расстрела маршала оказалось утраченным в блокаде Ленинграда. Возникла угроза бесследного исчезновения и его самого. Ведь тогда так часто бывало.

«Нет человека – нет проблемы» – так говорили вожди.

А у Игнатьева было уже пятнадцать лет лагерного стажа, из них три – без определенного срока, он был «пересидчиком», и конца этому правовому состоянию никто не видел.

Теперь уже мало кто знает, что значит «пересидчик». Представьте, как чувствует себя человек, у которого срок закончен, а на волю не выпускают. И год проходит, и два, и три... А спросить некого – война должна была за все ответить.

Игнатьев был моим соседом по нарам и добрым приятелем. А в шахте – очень талантливым, «теневым» механиком. Он исполнял обязанности многих «главных» – с разноцветными дипломами и «красными корочками», на высокой зарплате да с постоянными премиями. Они часто менялись, а он просто честно работал.

Окружающим казалось тогда, что он утратил чувство справедливости, привык так жить и перестал задумываться о своей судьбе. А он, презирая самую суть своих начальников, просто служил механизмам, работающим в шахтах, жалел их, как прежде тех, что были под его началом на морском корабле, и почитал эти горы металла почти живыми и одушевленными своими товарищами.

Я не только уважал его, я восхищался им!

И еще один эпизод.

В короткий период моей работы на Центробазе ОТС, коротая время в выходные дни, мы посвящали его искусству. Для этого приносили в лагерь отбракованные электрические лампы и испачканные с одной стороны куски чертежной бумаги. А стройный старец с седой бородой и детскими глазами – художник из Питера Андрей (кажется, Милентиевич) Геращенко – усаживал вокруг себя на хорошо освещенной площадке посреди барака всех, кто желал участвовать в этом священнодействии, и проводил много часов, посвящая в секреты портретного рисунка. Рядом, плечо к плечу, с полным взаимным уважением друг к другу, трудились и воры, и «контрики». И в желающих попозировать мы недостатка никогда не испытывали. А сказочный Север сам позировал Геращенко. Со своей величественной красотой он неиссякаем для тех, кто хочет и умеет ее рассмотреть.

Для нас это был прорыв в искусство, работа «для души», особенно ценная в тех условиях. И в благодарность старому художнику мы помогали отправлять миниатюры в Ленинград, его дочери. Это уникальная коллекция, если ей удалось сохранить шедевры!

Память о большом Художнике и его науке неожиданно, на уровне подсознания пришла мне на помощь, когда духовные и физические силы опять оказались на исходе, а положение стало безвыходным. Был обычный выходной день по «скользящему графику», и мне предстояло еще несколько часов тупо наслаждаться «покоем и свободой» грязной постели в углу темного, сырого и холодного барака.

Но я почувствовал, что у меня вдруг «зачесались» в забытой истоме мои избитые о железо тачки и обожженные руки. Поднимался я со своей опостылевшей постели тяжело (именно это запомнилось мне с особенной ясностью!). Вставал через силу, с большой неохотой. Из своего заплечного мешка, которые в лагере иронично называли «сидорами», очень бережно извлек я давно заготовленные и сложенные в плотную пачку квадратики чертежной бумаги, несколько кнопок и специально подобранный набор карандашей различной твердости. К этим принадлежностям я не осмеливался прикасаться со времени приезда в «особорежимный» лагерь.

Потом я, словно живого друга, призвал на помощь светлую память дедушки Геращенко, устроился поближе к свету и, постепенно разминая одеревеневшие пальцы, принялся переносить на бумагу с фотокарточки изображение милого лица жены бригадира со значительным увеличением. Опыт оказался удачным.

Я отвлекся от своих дум, в каком-то упоении провел два часа. А кроме того, для всех окружающих я в тот вечер превратился в другого человека. И заработал при этом себе отгул еще на один день, с горбушкой хлеба в придачу.

Пожарный начальник, второй ученик Франца Муншау в этом лагере, Николай Шмидт пришел ко мне сам, в сопровождении того же Яши. Я сразу стал ему очень интересен: он, как только узнал от Яши о моем «таланте», тут же наметил план мероприятий, чтобы использовать меня в своей пожарной карьере. По его мнению, требовалось многое:

- изменить категорию труда по в моем «деле» (а категория эта устанавливалась врачами при ежегодном комиссовании);

- добиться моего открепления из списочного состава шахты;

- добиться включения в штатное расписание пожарного отделения еще одной единицы;

- добиться разрешения капитана – начальника отдела районной пожарной охраны.

Все это, считал Николай, с помощью «моего таланта» и «нужных людей» – «квартирантов», которые полузаконно поселились в его «Пождепо», было вполне преодолимо. Он стал очень энергичен, мой товарищ по «классу Муншау», как только почувствовал, что от меня ему может быть какая-то польза.

По его просьбе уже начали содействовать его «всесильные квартиранты»: Грек – главный экономист лагеря Иван Константинович Панаиотиди и заведующий продскладом Алексей Андреянович Соболев. А им, был уверен Шмидт, все под силу!

Однако еще один пункт «мероприятий» вызвал отбой с моей стороны. Мне самому – лично – нужно было идти за подписью о разрешении к «куму». К тому самому оперуполномоченному, тоже очень энергичному, к которому «прилипало» все, что пыталось проскользнуть мимо. Я поблагодарил Шмидта за хлопоты и наотрез отказался участвовать в такой затее. Чем вызвал ужасное недовольство «шефа»... и интерес к своей особе у «всесильных квартирантов».

Соболев отреагировал оригинально:

- К этому? – переспросил он с явным презрением. – Да запросто! Сей момент! Да он сам принесет мне такое разрешение.

«Этот», как оказалось, находился в постоянной «продовольственной» зависимости от Соболева.

А «Греку» мой отказ понравился просто по-человечески, он обратил на меня внимание и очень помог в устройстве дальнейшей моей судьбы. Только помощь его была не в том, чтобы сделать из меня пожарника. Он призвал меня в свой плановый отдел – бухгалтером по расчетам с шахтой за эксплуатацию «контингента заключенных».

Для изменения категории труда в своем «личном деле» мне пришлось по благу еще больше двух недель проваляться в отвратительной лагерной больничке. И по роковому совпадению я приобрел там еще одну отметку судьбы – не мнимый, а настоящий диагноз хронического заболевания почек.

Когда работа в котельной на шахте уже осталась в далеком прошлом и все мои действия стали наполняться надеждой на улучшение жизни в ближайшем будущем, вынужденный «отдых» в больнице стал представляться вполне сносным. И себя тогдашнего – молодого, тощего, коротко остриженного, с «мольбертом» и карандашами в руках, только привыкающего к новому для меня званию «художник», – видел не совсем еще потерянным, не опустившимся под грузом насущных лагерных проблем.

Однако картинки того периода, глубоко застрявшие где-то в тупиках мозговых извилин, толкают и на другие воспоминания. Меня, как ни странно это звучит, отказывались тогда выписывать из больницы на вполне законном основании: уровень белка и лимфоцитов в моей моче не хотел снижаться, несмотря на диеты, уколы и целые пачки каких-то лекарств. Так что выпи-сался я наконец тоже по большому благу. Да еще для гарантии подменив мочу при анализе.

А в больнице у меня была бездна свободного времени. И тратил я его щедро: и на портреты товарищей для отправки домой, и на добровольную помощь фельдшеру в его работе – он был там один, а больных – более сотни. Но в основном свободные часы я проводил в одиночестве, в своих «глубокомысленных» размышлениях. И мне никогда не бывало скучно с «самым умным человеком» – с самым собой.

Мысли я отпускал в самостоятельную прогулку. Казалось, что они не рождаются в моем мозгу, а приходят сами, готовые, откуда-то извне. И роятся в фантастических комбинациях, по своему собственному сценарию.

А потом я осознал, что эти мысли, неведь откуда приплывшие ко мне, все больше гадкие и тоскливые.

Так, оказывается, в жизни нередко случается...

Может, так и должно быть: в каком состоянии организм, такие и думы приходят.

Подобное притягивает подобное.

Но когда я это понял, то почувствовал, будто сам себя предал, дал загнать себя в тупик, имя которому – безысходность.

Попробовал сам изменить ситуацию всякими способами...

Приказывал мыслям – не слушаются. Просил – не обращают никакого внимания. Призвал на помощь в конце концов тех мудрецов, кем увлекался всегда и кого помнил с ранней юности: Блока, Северянина, Лермонтова.

И скучно, и грустно, и некому руку подать...

За ним Некрасова:

Спи, кто может, – я спать не могу,  
Я стою потихоньку, без шуму  
На покрытом стогами лугу  
И невольную думаю думу...

Потом Есенина:

Пой же, пой. На проклятой гитаре  
Пальцы пляшут твои в полукруг.  
Захлебнуться бы в этом угаре,  
Мой последний, единственный друг...

В каждой строке и у них тоже тоска, сроднилась с их мощным талантом – и стала от того темнее моей собственной.

Я еще с ранней юности хранил в своей памяти много стихов. Те из них, которые приходились особенно по нраву, сами находили свое место в моей «копилке».

Политика со временем вытеснила из головы многое. Север вымел и выморозил все остальное.

Тогда я попытался опять все восстановить. И давалось это с огромным трудом. По строчке, по слову, по отдельной мысли. Как барон Мюнхгаузен, я старался за волосы вытащить себя из состояния, ведущего к деградации, из болота, в которое уже скатывался. Трудился так почти все свободное время, методично прокручивая строку за строкой, стараясь восстановить в памяти все, что раньше само легко осталось в голове.

Только голова уже была далеко не та!

Взвалив на себя тяжелую, изнурительную работу по восстановлению утраченного, со своей уже нарушенной психикой, я энергично лез все дальше в иной мир.

Голова, мне казалось, постепенно свежела, но цена этой «свежести» была непомерно высокой. Добавлялись чужие мысли и без спросу располагались в моей голове, как хозяева, вернувшиеся из долгосрочной командировки в коммунальную квартиру.

И несли с собой для моей души новую боль.

Как-то Соломон Дикман пришел в больницу по своим интимным делам к главному врачу, своему земляку из Варшавы. В зоне Дикман тогда пользовался дурной славой. Ходили слухи, что хитрый еврей неожиданно подружился с «кумом», часто посещал его кабинет и подолгу вел с ним душевспасительные беседы.

Народ там всегда знал все о каждом!

Но я не верил этим слухам. Потому что человек с таким интеллектом, досконально знавший больше двадцати языков, в прошлом – доцент Варшавского университета, просто не мог заниматься мелкими гадостями.

И он был за это мне искренне признателен. Он объяснил потом, что действительно влип-таки в ситуацию, комичнее которой трудно и придумать. Оперуполномоченный, естественно сам активный коммунист, поручал каторжанину, и совсем даже не бесплатно, составлять для него конспекты по истории КПСС!

Такой «документ» по партийной учебе каждый коммунист должен был предъявить к концу года секретарю, в подтверждение того, что предмет им усвоен...

Дикман с блеском справился с поручением. Он даже располнел на харчах «кума» за неделю своего труда по вечерам.

Я с ним был в добрых отношениях давно, еще со времени работы на строительстве лесокombината. Он тогда только знакомился с русским языком; знал хорошо польский, сербский и хорватский. А я – украинский и совсем немного польский. В обеденный перерыв Соломон приходил ко мне пообщаться для «взаимного развития». Специально к каждой нашей встрече он готовил новый анекдот на русском языке. В его передаче они получались вдвойне смешными. И в этой зоне он при каждой нашей встрече, гримасничая, предлагал на мой суд новый анекдот. Спустя всего эти полтора года по-русски он говорил как потомственный питерец; значительно преуспел и в украинском.

Я ему пожаловался тогда на «заносы» в своей психике. И он не только успокоил меня, приободрил и привел в душевное равновесие, но и научил смотреть на свое «естество», свое «Я» с абсолютно иной позиции. А впредь посоветовал быть более внимательным и разборчивым при подборе «материала».

Оказывалось, по его мнению, что каким-то образом я сам, без всякой подсказки догадался применить в своей практике один из методов «индусской медитации». Он знал в этом толк, так как до войны два года провел в Индии на специальной стажировке.

А я после нашей беседы даже как-то зауважал себя.

И потом, в тяжелые часы жизни – а таких часов и дней было предостаточно – этот «метод» очень мне пригодился, чтобы приводить себя в нормальное состояние, сберегать свой рассудок и достигать согласия между душой и разумом.

Я почти год проработал в бухгалтерии «контрагента». По инициативе Грека наша группа была создана именно для того, чтобы «контролировать расчеты с шахтами». По сводкам нарядчиков мы составляли табеля, суммировали количество человеко-дней, сверяли их с шахтными службами и контролировали таким образом доход лагеря.

Однако, экономя для лагеря при расчетах с заказчиками многие тысячи рублей ежемесячно, мы не могли хоть самую малость потратить на себя – для приобретения обычной бумаги. Или для того хотя бы, чтобы организовать элементарную вентиляцию помещения, в котором нам приходилось трудиться.

Это были годы послевоенной разрухи. Ощущалась она во всем. И мы даже для наших «важных» документов пользовали оберточную плотную бумагу, нарезая ее из крафт-мешков. Использовали ее несколько раз, пока она совсем не ветшала. А предыдущие записи ежемесячно смывали раствором хлорной извести. Бумага становилась чистой, но головы наши раскалывались от боли, пальцы распухали и ныли по ночам. Никому не было до этого дела. Это считалось обычными «издержками производства».

По два раза в месяц я уходил на шахты для сверки и взаимного подтверждения показателей учета рабочей силы. Правда, такие походы сопровождалась всеми прелестями лагерного «развода» на работу: «парадом» бригад перед вахтой, «шмоном» у выхода, собачьим остервенелым лаем, окриками конвоя в пути следования... Все это и так уже до чертиков надоело, но все же я ходил на сверки добровольно. Так я отдыхал от работы и от конторы, насквозь пропитанной запахом хлорной извести.

Кроме того, в Шахтоуправлении, несмотря на постоянный угар во всей промзоне от горящего угля в терриконах, легче дышалось и в переносном смысле. Там было немного ближе к свободе. Там у меня было много друзей.

И именно в тот период произошла еще одна очень важная для меня встреча. На моем жизненного пути неожиданно появился «человечище», с лагерной кличкой «Профессор», Федор Федорович Красовский!

Мы одновременно лежали в больнице, только встретиться нам тогда не пришлось – мы «проходили лечение» в разных бараках. Потом я, опекаемый «самим Греком» попал в касту «лагерных придурков», а он вынужден был в бригаде «активировки» чистить мокрый снег и отводить весеннюю воду от жилых помещений. А еще убирать мусор и приводить в порядок «места общего пользования». Одежда его была ветха до крайности, а сам он – бледен и худ. Но к нему тогда уже прилипла его кличка, и он ее вполне заслуживал.

Бывают же в этом мире люди, которые и в лохмотьях выглядят рыцарями!

Красовский был потомком двух украинских гетманов, воевал в офицерском звании в армии Колчака в Сибири. Потом изловчился при такой биографии завершить образование и получить дипломы трех московских технических вузов... На четвертом факультете учебу завершил, но сдавать экзамены уже не было времени.

А еще – был он любимцем наркома Серго Орджоникидзе. Тот прочил его на должность государственного масштаба – главного инженера ВСНХ. (Эта абракадабра расшифровывалась как Всесоюзный Совет Народного Хозяйства – всесильный орган советской промышленности...) Но вместо назначения на высокую должность Красовского осудили, приговорив к высшей мере за открытый протест против искусственного голода на Украине и на юге России в 1933 году. Об исполнении приговора было напечатано сообщение в центральных газетах.

А между тем срок заменили десятью годами ГУЛага (это был тогда предельный срок лагерей) и отправили на Северный Урал – медленно умирать на разработках радиевой руды. Выжил Федор Федорович чудом, и еще потому, что был талантливым инженером. Больше года оставался в команде «пересидчиков» – срок его завершился еще в 1944 году. Но война закончилась, а таких, как он, все не отпускали...

Потом Красовскому опять ломали ребра (в буквальном смысле!) на новом следствии, для создания еще одного «дела»... А после суда и излечения грудной клетки в больничном городке он угодил уже к нам, в тот самый «отсев», прозванный «активировкой». Туда отбирали кандидатов в морг из состава уже ни на что не годных эков. Ютилась «активировка» очень скученно в одном из самых бедных бараков лагеря, где всегда было сыро и холодно, пахло лагерной помойкой, гнилыми портянками и дымом от окурков из моршанской махорки. Однако и там у «Профессора» собиралась на посиделки любознательная молодежь из тех, кого комендант барака называл «белой пеной».

Реабилитировали Федора Федоровича полностью после 22 лет пребывания в ГУЛаге в 1956 году. В Москве дали ему комнату, назначили пожизненную пенсию – 120 рублей в месяц... Он еще успел жениться и родить двоих детей.

О гражданском подвиге этого Человека, о встречах с ним и о нашей многолетней дружбе много позже – уже в XXI веке – я написал книгу «Возвращение изгоя». Спустя много лет мне удалось разыскать жену Красовского и его дочь и передать им пару экземпляров «Изгоя», от моего «самиздата»...

А в зоне поселка Аяч-Яга и судьба моя еще раз пыталась сбить с ног и уничтожить. Толкали к яме и страшные для меня известия о высылке моих родителей в Сибирскую тайгу севернее Томска, и об отправке на медные рудники в Джезказган моей сестры.

Спустя несколько месяцев и моих друзей подобрали на этап. Увезли Грека. С ним в одном этапе отправили и Федора Федоровича.

А я остался без практической защиты и духовной поддержки.

Из бухгалтерии «по расчетам за работы контингента» меня отчислили, да и ее саму вскоре тоже закрыли за ненадобностью. Принадлежности для рисования у меня украли. Руки очень скоро отучились держать карандаш. Никто уже не приходил ко мне «позировать», чтобы послать домой свой портрет.

С моей почти инвалидной категорией труда в личном деле я сразу же, как по наклонной плоскости, докатился до «активировки». По иронии судьбы тот же комендант в бараке поселил меня на то же место, где до этого обитал Федор Федорович... И я в составе той же бригады выходил на расчистку мусорных ям, тротуаров и общественных туалетов. Может быть, даже пользовался той же лопатой, которую до этого держал Профессор.

Продуктовое довольствие мое находилось тогда на уровне «гарантийного» – ниже которого не бывает. Я снова очень быстро и основательно «поплыл». Очень странно: у меня пропал аппетит, ел я тогда только потому, что это необходимо. Должно быть, и пропускал обед. Я очень мерз и все время тянулся к печке. За место около нее приходилось подчас даже драться. Сильно обострилось обоняние. Меня преследовала, вызывая тошноту, чудовищная вонь гниющих портянок, вывешиваемых для просушки везде, где был какой-то источник тепла.

Я и теперь часто во сне ощущаю этот запах.

На этот раз меня «за уши» вытягивали товарищи из Шахтоуправления – те, к которым я заходил, когда сверял расчеты. Приняли на работу в бухгалтерию экономистом... или в плановый отдел бухгалтером... Одним словом, я стал трудиться на должности, объединяющей усилия двух вечно конкурирующих отдела «ШУ-2» и специально созданной для ежесуточного определения себестоимости добытого угля.

А группа очень скромных мужиков – Овчаренко, Кораблева, Маруса, – над которыми часто потешались, называя шахтинскими «придурками», оказалась основой сплоченного коллектива специалистов такого класса, что позавидовало бы любое предприятие России. Они и жили в лагере только интересами производства и своей работы. В жилую зону приходили отдохнуть и получить причитающееся «довольствие». А еще для того, чтобы не лишиться места в бараке. Ночевали же в конторе, прямо на столах с папками под головами вместо подушек.

И в результате такой самоотдачи ценность их труда поднялась до государственного уровня. А работу с «компьютером» тех лет – с простыми дедовскими счётами – эти люди (и я с ними!) довели до совершенства. Наши руки так будто автономно – самостоятельно играючи выполняли любое арифметическое действие, а мы при этом переговаривались между собой на совершенно отвлеченные темы.

Чтобы не осточертела такая работа ради работы, мы часто устраивали профессиональные соревнования и горячие дискуссии. И еще Иван Андреевич, заместитель главного бухгалтера, немец на высылке и потому тоже гражданин «второй категории», пропагандировал наши

методы и саму систему среди коллег на других шахтах. Там и я получил свою долю профессиональной подготовки и навыков, что оказалось бесценным приобретением.

Кроме того, в этой зоне я вместе с «земляками» по Аяч-Ягинскому лагерю пережил великий душевный подъем: дни «Большого сабантуя» – бунта всех режимных лагерей Воркуты.

«Контрикам» терять было нечего, и наши шахты единодушно присоединились к забастовке с требованиями свободы. Для переговоров с шахтерами приезжали Генеральный прокурор СССР Руденко в сопровождении заместителя министра внутренних дел генерала Масленникова. И заключенные без всякого страха и сомнения высказывали в глаза высокому начальству все, что думали о власти в стране и о самих гостях.

А потом по команде блюстителей порядка солдаты расправились с бастующими жестоко и с большой кровью. Зачинщиков так и не выявили. Руководителей бунта установить тоже оказалось невозможно.

И чекисты провели очередной курс селекции – искусственного отбора. Они просто отобрали несколько тысяч человек – самых лучших, самых светлых, идейных и энергичных – и увезли из Воркуты куда-то в неизвестность. С теми, кто остался, уже было легко и просто разговаривать с позиции силы.

Никто не знает, остались ли живы люди того исторического этапа на юг. Бунтарей на всех пересыльных пунктах встречали как героев. Их эмоциональный подъем был так ощутим, их энергия была такого высокого напряжения, что казалось, даже мощные кирпичные стены пересыльных тюрем вибрировали из солидарности.

Пересыльные тюрьмы гудели в общем порыве протеста. Надзиратели, растерянные и жалкие, предпринимали особые меры предосторожности: воркутинцев из вагонов привозили в «воронках» только глубокой ночью, помещали в изолированные корпуса.

И я был в этом этапе и позже описал те события в повести «Большой сабантуй». В Москве меня отделили от остальных и повезли по другой дороге: через пересылки Харькова и Киева в Винницу. И водворили там во внутренний корпус для политических заключенных областной тюрьмы. Привезли, как оказалось, специально на встречу с товарищами по НТС и НРП.

У чекистов в 1952 году появилось желание организовать очередной процесс «по преступлениям, совершенным в период Великой Отечественной». Такие процессы были очень модны после войны, их то и дело проводили во многих городах, бывших под оккупацией. Только на этот раз они опоздали и просчитались.

И лишь через год нас возвращали из «командировки» по своим местам. Меня на обратном пути водворили неудачно. Кто-то, должно быть, просто ошибся. В конце путешествия по пересыльным пунктам ГУЛага, ясной солнечной ночью меня одного неожиданно высадили на небольшой станции и передали конвою пересылки в городе Инта.

Мне бы порадоваться такой ошибке. Ведь Инта находится уже в полосе лесотундры! Там кислорода побольше, чем в Воркуте, и расположен этот шахтерский город на несколько сотен километров ближе к Центру.

Только радости у меня не было...

Утром, когда я еще и спать не ложился, пожаловали ко мне в барак гости – представители местных «авторитетов». В «дипломатической беседе» выяснилось, что и Воркута, и сестра ее – Инта продолжали жить в системе напряженного поля «Великого сабантуя». Через пару месяцев после отправки «зачинщиков» забастовки из Воркуты чекисты увозили и «антигероев» – стукачей-provокаторов. Несколько десятков человек из этой категории попали и на пересылку Инты. Потом след их постепенно потерялся где-то в глубинах шахт – «при невыясненных обстоятельствах». Несколько человек чекисты успели сплавить дальше на юг. Но и «хозяева» тоже относились к ним с брезгливостью и не особенно оберегали...

На меня тоже легла тень подозрения. Нужно было доказывать, что я не из «той самой» категории «стукачей» и попал в Инту совершенно случайно.

Доказательства, как мы договорились с «авторитетными людьми» на пересылке, были очень простые: я писал заявления в администрацию лагеря и настойчиво требовал, чтобы меня возвратили назад на Воркуту, в мой «родной» лагерь.

Такой вариант и их, и меня вполне устраивал.

Я часами просиживал перед дверью начальника лагеря, грозил объявить голодовку, побывал и в изоляторе, отказывался от отправки на любую из шахт этого лагеря. Несколько человек из «группы поддержки» постоянно ходили за мной, подзадоривая на новые подвиги. Запрос наконец-то послали на Воркуту, и ответ на него пришлось ожидать почти две недели. А когда сообщили решение, провожать меня пришла целая толпа аборигенов.

В августе 1954 года я возвратился в тот же лагерь, меня приняли на ту же работу в бухгалтерию Шахтоуправления, и оказался я в окружении тех же друзей и сослуживцев.

Прошел всего год со времени моего отъезда, а лагерь изменился неузнаваемо.

И, как мне тогда так показалось, в лучшую сторону.

Многие товарищи, бывшие эки, уже работали на шахте по найму и жили в поселке для вольнонаемных на правах поселенцев. К другим приезжали для воссоединения семьи жены и взрослые дети, пожертвовав благами жизни «на югах», и это не только не возбранялось, но и поощрялось администрацией лагеря.

Люди были рады и такому улучшению жизни, пусть даже оказавшись в жалком подобии свободы и равноправия. О тех же, кого увезли, кто пожертвовал собой в борьбе за общую свободу, никто и не вспоминал.

Для меня свобода совершенно неожиданно пришла в феврале 1956 года.

Как странно: те строки в моем деле, которые я почитал самыми неприятными – «участие в формированиях врага», – оказались решающими для освобождения по амнистии 1956-го.

Разрешалось ехать в любое место в стране, по моему выбору... кроме областей, городов и поселков... Список запретных мест проживания не уместился на трех листах печатного текста.

Но выбор у меня был предельно прост. Этот вариант вполне устраивал и чекистов: мне надо было ехать туда, где жили мои родители, – в тайгу Томской области, Кривошеинского района, в поселок Красный Яр. А потом еще на 25 километров дальше на север.

Больше нигде во всем мире для меня не было места.

А там, в тайге чудесная природа, здоровый климат и милые, родные души. Что еще нужно на этом свете человеку для полного счастья после почти двенадцати лет, проведенных в каторге? Мне необходимо было просто оглядеться в мире вольных людей, переосмыслить все, что со мной случилось, и хоть немного прийти в себя.

Нашлась и девушка из тех, кого присылали по распределению после учебы в техникуме на Север. Я ее учил ремеслу... Она не побоялась со мной и Сибири.

Там в таежном поселке со временем, благодаря хлопотам отца, меня приняли на работу по специальности, полученной в Воркутинских шахтах.

Осваиваться в новой обстановке было чрезвычайно трудно. Особенно мучительными оказались жилищная проблема и бытовая обстановка. В квартире из одной комнаты с кухней собралось тогда три семьи (всего восемь человек). Особенно страдали бедные женщины – главным образом из-за разницы в привычках, воспитании, уровне интеллекте.

Начался даже такой период, когда у меня возникло непреодолимое желание возвратиться на Воркуту. Я послал письмо своим товарищам – те отреагировали без промедления. Пришла официальная телеграмма – приглашение на работу в Шахтоуправление. Да еще и деньги на дорогу – больше оклада самого директора Леспромхоза!

Новость сразу же стала известна всему поселку.

Не успел я подать заявление об увольнении, как отношение руководителей Леспромхоза изменилось. Мой статус поднялся до самой высокой отметки. И через день мне вручили ключи от собственной квартиры. Совсем маленькой, из одной комнатки с кухней, с удобствами во

дворе, печным отоплением и водой из реки. Так жили в том краю почти все. Но самое главное – это было самостоятельное жилье.

А потом пришло еще и повышение по службе.

Пришлось извиняться перед воркутинскими товарищами и возвращать им аванс...

Мы с сестрой для восстановления прав по образованию на следующий год пошли учиться в десятый класс школы рабочей молодежи. Я закончил в 41 году украинскую школу. Тут приходилось повторять опять по-русски. И, промучившись несколько месяцев, мы получили аттестаты зрелости.

В Красном Яру жена родила мне дочь и сына. В 1961 году – третьего ребенка, еще дочь.

После 1960 года ссыльные постепенно стали разъезжаться по домам. Задумывались об этом и мы. Дело это было тогда довольно сложное.

В ссылке, в разных медвежьих углах, все работники (или, как тогда называли, «рабочая сила»), решениями местных Советов были закреплены за производствами и удерживались при помощи паспортного режима, методом строгого контроля над пропиской. Или хуже того, с еженедельной отметкой в спецкомендатуре. Приходилось использовать все свои способности, чтобы незаконные законы обойти полузаконным способом.

Отец наш, где бы ни приходилось ему трудиться, был «трудоголиком». И на высылке, в своем Леспромхозе, он тоже не стал другим. За несколько лет маленький участок вторичного использования отходов лесоматериалов, куда назначили его мастером, отец постепенно превратил в огромный цех по лесопилению и изготовлению тарной дощечки – этаким бесправный, но вполне настоящий лесокombинат на берегу реки. Договоры на поставку тары с краснодарскими и молдавскими плодокombинатами появились у него будто сами собой. А у Леспромхоза появился новый, вполне приличный источник прибыли.

В благодарность непосредственный начальник отца – и одновременно секретарь партийной организации Леспромхоза – рекомендовал передовика и организатора производства в депутаты местного Совета. Пришлось комендатуре срочно снимать отца с мамой со спецучета и выдавать им паспорта. Документы эти были, правда, со специальной пометкой, но все же подтверждали, что владельцы их являются полноправными гражданами СССР.

А мы использовали права, которые дали нам студенческие билеты. Я тогда заочно учился в Томском университете; сестра же, подбрасывая своих детей родителям, пошла в Томский медицинский институт, вновь на первый курс.

Основным препятствием для того, чтобы оставить наконец этот «благодатный» сибирский край, и забыть все, что с ним было связано, были все те же, невинные на вид, но серьезные по сути пометки в паспортах. Но я решился и мы сдвинулись с места. Сначала поближе к Томску – в поселок строителей в 20 километрах от областного центра, а потом, в 1963 году, и дальше...

Муж моей сестры, с дипломом инженера связи железнодорожного транспорта, первым увез семью в Челябинскую область. Родители отправились в родное село отчима в Молдавии. А я со своей семьей двинул сразу на родину супруги, в самый центр России – город Михайлов Рязанской области. Нас приветливо приняли ее родители. Они были очень рады познакомиться с первыми своими внуками.

На работу мне помог устроиться дядя жены. Должность была, конечно, незавидная – ревизор строительного треста, самая крайняя в штатном расписании. На нее желающих не было, особенно если учесть, что трест ютился в бараке дальше чем в 20 километрах от крохотного городка.

Начал я на новом месте с «самого низа». И не менял работу по своей инициативе до конца трудовой деятельности более тридцати лет. Правда, не потому, что мне очень уж нравилась система строительства. Просто при перемене места работы предстояла обязательная

проверка автобиографии и объяснения с чужими людьми по поводу «отдельных фактов» из своей жизни...

Мне не хотелось повторять, что я как был раньше, так и остаюсь противником социалистического образа правления государством, не хотелось оправдываться, потому что я никогда не считал себя виновным.

Меня переводили потом, конечно при моем согласии, с места на место, с должности на должность, с постепенным повышением. И с предоставлением жилья и мест в детском садике для детей, с выплатой подъемных. Проходили годы, росли авторитет, уважение руководителей и товарищей по работе – но с каждым годом становилось все труднее работать.

С самого первого дня, с первой моей ревизии, первой проверки я был поражен тем, как отличаются условия работы и отношение людей к труду и своим прямым обязанностям в Сибири, в том «каторжном краю», от того, что творится в Центральной полосе России. Хотя мне и раньше говорили, что край, где живут потомки бунтарей разных поколений России, «ближе к условиям в коммунистическом обществе», чем в самом центре государства.

Разбираясь в документах самой передовой, самой лучшей строительной организации треста, я окунался в такую грязь, обнаруживал такие нарушения, какие просто невозможны были в Сибири!

Все оказалось новым для меня.

Первую свою проверку я проводил вслепую. Не знал, кто кроется за звучными фамилиями нарушителей, не пытался разобраться в их взаимоотношениях. Просто называл своими именами все, что увидел по документам.

В результате в числе нарушителей оказались не только руководители стройуправления, где проходила ревизия, но и многие ответственные работники треста, а среди них два заместителя управляющего и даже работники руководящего звена района.

С актом этой ревизии ознакомился председатель комиссии народного контроля, и руководителям треста не удалось скрыть нарушения. Акт оказался в центре внимания, имел большой резонанс не только в тресте, но и во всем районе. Рядовые работники треста смотрели на меня как на самоубийцу – ведь я нарушил принятую в стране этику.

Получилось все наоборот.

С работы уволили несколько человек; некоторым запретили деятельность на ответственных постах. Поссорились управляющий трестом с главным бухгалтером. Обоих их тоже уволили.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.